

ВЛАДИМИР ГИЛЯРОВСКИЙ

ЛЮДИ ТЕАТРА

Владимир Алексеевич Гиляровский

Люди театра

Серия «Librarium»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68053828
Люди театра / В. Гиляровский: РИПОЛ классик;*

Аннотация

«Люди театра» – это не исследование. Это просто воспоминания о тех, с кем я встречался, когда еще сам был человеком театра». Владимир Алексеевич Гиляровский (1855-1935) – самый настоящий человек театра. С 1875 года он путешествовал с труппой по всей России, а к 1881 году стал выступать в театре Анны Бренко в Москве. Так возникла «повесть с настоящими именами, датами и местами действия» об особенных людях, которые посвятили себя театру: актерах, режиссерах, художниках-постановщиках, антрепренерах и других. Дядя Гиляй-бытописец подарил живую и яркую картину не только сцен и закулисий, но и всего рубежа XIX-XX веков.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Предисловие автора	4
Вася	7
Пешком по шпалам	37
Докучаев	61
Друзья	78
Бурлаки	89
Яркая жизнь	105
А.И. Южин	118
М.В. Лентовский	125
Театральная публика	132
Шкаморда	140
На Хитровке	144
Восходящая звезда	167
Актер Вольский	305
Поэт Блок	324

Владимир Гиляровский

Люди театра

Предисловие автора

«Люди театра» – это не исследование. Это просто воспоминания о тех, с кем я встречался, когда еще сам был человеком театра.

Вернее сказать, это – описание моих театральных скитаний, вспоминая о которых, я молодею на полвека. Рассказываю своим внимательным слушателям в часы интимных бесед и вижу, что этим доставляю им удовольствие, а себе вдвое. А потом уже пишу почти теми же словами, как рассказывал.

Ни в этих рассказах, ни в записях никакой выдумки нет (я так много интересного видел в жизни). Я просто беру людей, события, картины, как их помню, и подаю их в полной неприкосновенности, без всяких соусов и гарниров.

Так же создавалась книга, самая любимая из всех написанных мною, – «Мои скитания».

Люди театра – это те, которые живут театром, начиная от знаменитых актеров и кончая театральными плотниками и даже переписчиками пьес и ролей, уютившимися в ночлежках «Хитровки».

Много я знал на своем веку театрального люда: с кем дружил, с кем служил, перевидел почти всех знаменитостей. И вот на фоне жизни того времени, когда театры еще освещались керосиновыми лампами, попробую дать фигуры моих современников.

О великих людях тогдашней сцены все известно из их биографий, из рецензий, из мемуаров. Писать о них, только о них, – значит повторяться.

Они, так же как и все остальные люди театра, по большей части попадали на сцену случайно и «выплыли наверх».

Тогда в театр не поступали, а именно попадали, как попадают под суд, под поезд, в тюрьму.

Как попадали люди в театр, как они жили, что окружало их, как иногда они бросали сцену и почему-то вновь возвращались в театр, – вот что я хочу показать в моей «повести актерской жизни».

А для этого приходится писать о себе, рассказать, как я попал на сцену, уходил и снова возвращался в ту среду, которая теперь панорамой разворачивается перед моими глазами.

В книге пройдут и великие знаменитости и никому не ведомые, безыменные, и все они составят людей театра. Пройдут тут и такие, которые ничего общего с театром не имели, и даже такие, которые слово «театр» не слышали, но все они необходимы для обрисовки моментов, пережитых одним из людей театра, без которых он не был бы тем, чем он был.

«Люди театра» – это повесть только с настоящими име-

нами, датами и местами действия, повесть о действительных событиях, со списанной с натуры обстановкой, с рядом описаний картин или записанных тогда по горячим следам в форме дневников, писем или воспоминаний, вынутых из памяти автора – действующего лица, представляющего собою одного из «людей театра».

Москва. Январь 1935 г.

Вася

«Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Эти строки Лермонтова я вспомнил осенью 1875 года в приемной антрепренера театра, в большой комнате с деревянными диванами и стульями.

На стене висела наклеенная на серый коленкор, засиженная мухами карта России, по которой, от скуки ожидания, я и путешествовал пальцем между надписями «Воронеж», «Саратов», «Козлов» и все никак не находил Тамбова: его не было. Там, где, по моим знаниям, он должен был находиться, красовался сделанный порыжелыми чернилами треугольник, через который проходили линии железной дороги на Саратов и Рязань.

На верху карты стояла размашистая подпись: «Михаил Докучаев ушел в Москву в Ильин день».

Вернулся мой путешествующий по карте палец из Рыбинска в Ярославль. Вспомнились ужасы белильного завода... Мысленно проехал по Волге до Каспия... В дербентские и задонские степи ткнулся, а мысль вернулась в Казань. Опять вспомнился арест, взломанная решетка, побег. И злые глаза допрашивавшего седого жандармского полковника, глядевшие на меня через золотое пенсне над черными бровями... Жутко стало, а в этот момент скрипнула дверь, и я даже вздрогнул.

Из кабинета антрепренера вышел его сын, мой новый друг, стройный юноша, мой ровесник по годам, с крупными красивыми чертами лица и волнистой темно-русой шевелюрой. Он старался правой рукой прощипнуть чуть пробивающиеся усики.

* * *

В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного неоштукатуренного здания театра.

Подойдя к двери, я услышал шум драки. Действительно, шло побоище. Как оказалось после, пятеро базарных торговцев и соборных певчих избивали пятерых актеров, и победа была на стороне первых. Прислуга и хозяин сочувствовали актерам, но боялись подступить к буйствующим. Особенно пугал их огромного роста косматый буйан, оравший неистовым басом. Я увидел тот момент свалки, когда этот верзила схватил за горло прижатого к стене юношу, замахнулся над ним кулаком и орал: «Убью щенка!»

В один момент, поняв, в чем дело, я прыгнул, свалил с ног буйана и тем же махом двух его товарищей. Картина в один

миг переменялась: прислуга бросилась на помощь актерам, и мы общими силами вытолкали хулиганов за дверь.

И пошел пир. Отбитый мною юноша, общий любимец, был сын антрепренера театра Григорьева, а с ним его друзья актеры и театральный машинист Ваня Семилетов. Хозяин ресторанчика Пустовалов поставил нам угощение, и все благодарили меня. Часы пробили два, мой цирк уехал, – тогда только я спохватился и рассказал об этом за столом.

– Брось ты свой цирк, поступай в актеры, я попрошу отца, он тебя устроит, – уговаривал меня Григорьев.

И все остальные стали меня спрашивать.

А тут вспомнил я, что наш цирк собирался на весну в Казань, а потом в Нижний на ярмарку, а Казани, после ареста, я боялся больше всего: допрашивавший меня жандарм с золотым пенсне, с черными бровями опять вырос предо мной. Вещей в багаже осталось у меня не богато, бумаг никаких. Имени моего в цирке не знали: Алексис да Алексис – и только. Поди ищи меня!

Переночевал я на ящике из-под вина в одной из подвальных комнат театра, а утром, в восемь часов, пришел ко мне чистенький и свежий Вася Григорьев. Одет я был прилично, в высоких козловых сапогах с модными тогда медными подковами и лаковыми отворотами, новый пиджак, летнее пальто, только рубаха – синяя косоворотка.

И вот я один в приемной. Вася ушел к отцу, и тот, как оказалось, посадил его за составление афиши, почему я так

долго и путешествовал указательным перстом по карте России.

Васе я назвал свою настоящую фамилию, родину, сказал, что был в гимназии и увлекся цирком, а о других похождениях ни слова. *Я был* совершенно спокоен, что, если буду в театре, мой отец паспорт пришлет. А Вася дал мне слово, что своего отца он уговорит принять меня.

И когда вслед за Васей показалась могучая фигура Григорьева в бухарском халате нараспашку, когда я взглянул на его полное бритое лицо – сын на него как две капли воды был похож, те же добрые карие глаза и ласковая улыбка, – я сразу ожил.

Старик протянул мне большую мягкую руку и сказал:

– Пойдемте в столовую чай пить. Там уже собрались – все свои, а вы наш. В цирке служили?

– Да.

– Значит, вы настоящий артист... Сегодня вечером, для первого дебюта, мы вас вымажем сажей и выпустим негром. Пойдемте, – взял меня под руку, повел и представил шумевшим за чаем актерам и актрисам.

Меня встретили аплодисментами. Оказалось, что все знали вчерашнюю историю – Семилетов, Сережа Евстигнеев и Дорошка Рыбаков, участники побоища, уже за чаем все рассказали, а из меня сделали какого-то Еруслана Лазаревича.

Вечером шла «Хижина дяди Тома», и я в курчавом парике, вымазанный сажей, сказал мою первую фразу на сцене:

– Здравствуйте, дядя Том.

И даже не заметил, что стоявшие со мной статисты, солдаты Рязанского полка, также сказавшие, как и я, эту фразу, сняли парики из вязанки, принятые ими за шапки, раскланялись и надели их снова. Да и публика не заметила этого. Только Григорьев, игравший дядю Тома, в антракте, при всех надрал ухо Васе Григорьеву, который был помощником режиссера, и сказал, чтобы в другой раз объяснил статистам, что парики – одно, а шапки – другое.

* * *

Началась моя новая счастливая жизнь, так непохожая на предшествующие приключенческие годы, но имеющая с ними что-то общее: такая же вольная, такие же простые люди окружали меня – совершенно другие по обличью, по поступкам, по взглядам, но такие же хорошие товарищи.

Цирк, его «камрады», коверкавшие на иностранный лад русский язык, и иностранные женщины, с которыми я за все время сказал каких-нибудь десять слов, уже с первых дней показался мне чужим, а потом скучным. Увлекала только работа и появление перед публикой, а все остальное время пусто и нудно, все были друг другу чужими. А здесь с первого момента я сдружился со всеми, и все – от изящных артистов Песоцкого и Погонина до Ивана Ардальоныча Семилетова, машиниста, плотника и декоратора, почувствовавшего

ко мне любовь и уважение после сцены в ресторане, – стали моими друзьями.

И сразу переродили меня женщины театра, вернув мне те манеры, которые были приобретены в дамском обществе двух тетенок, младших сестер моей мачехи, только что кончивших Смольный, и бабушки-сенаторши. Самого сенатора, опального вельможу, сослуживца и друга Сперанского, я уже не застал в живых. С тех пор как я ушел от них, за шесть лет, кроме семьи коневода, я несколько дней видел близко только одну женщину – кухарку разбойничьей ватаги атамана Ваняги Орлова, да и та была глухонемая.

Пораженный и ошарашенный увиденным в театре добрейшего Григорьева, я стал человеком театра, преданным ему.

И дела было у меня немало. Григорию Ивановичу Григорьеву я понравился. На третий день он позвал меня к себе в кабинет, где был Вася, и сказал ему:

– Возьми своего друга в помощники и первым делом сделай из него сценариста. Завтра идет «Свадьба Кречинского». Он будет следить за выходами. Пьеса легкая. Она у всех на слуху. Он передал мне пьесу:

– Завтра на репетиции будете выпускать вы. Прочтите пьесу, запомните выхода. Вася объяснит.

Утром на репетиции и вечером на спектакле я благополучно справился с новым для меня делом, тем более, что все актеры знали свои выхода – оставалось только следить по

книге. Через неделю я справился с «Ревизором». Вася долго меня муштровал:

– Главное, следи за репликами отца, не задержи Добчинского и Бобчинского. Когда он только скажет: «Вдруг открылась дверь – и шашть», так в тот же миг выпускай их.

Сам я играл Держиморду и в костюме квартального следил за выходами. Меня выпустил Вася. Он створил дверь и высунул меня на сцену, так что я чуть не запнулся. Загремел огромными сапожищами со шпорами и действительно рывкнул на весь театр: «Был по приказанию», за что «съел аплодисменты» и вызвал одобрительную улыбку городничего – Григорьева, зажавшего мягкой ладонью мне рот. Это была моя вторая фраза, произнесенная на сцене, в первой все-таки уже ответственной роли.

В следующем спектакле «Ревизора», перед рождеством, я уже играл Добчинского, и эта роль осталась за мной и далее. Вася играл почтмейстера, и мы оба по очереди следили за выходами.

Работы было довольно. Ежедневно читали пьесы. Библиотека Григорьева была большая. Кроме того, на моей обязанности было выписывать, конечно, сперва под руководством Васи, костюмы и реквизит, иногда самый неожиданный.

Для какой-то обстановочной пьесы, кажется, «Луcreции Борджиа», потребовалось двенадцать гробов, и я вместе с Васей и реквизитором ездил за ними на базар в гробовую лавку.

Мы сопровождали этот груз издали по главным улицам города, чтобы все видели, что его везут в театр. За нами бежали мальчишки, и к вечеру весь город говорил об этом.

Эта была великолепная реклама, которую придумал бенефициант А.И. Славин.

Высокий и грузный, вращая большими темными глазами, он завывал баритоном, переходившим в бас, с небольшой хрипотцой Кузьму Рощина, Прокопа Ляпунова и других атаманов, имея главный успех на ярмарочных спектаклях.

Здесь он недурно исполнял роли благородных отцов и окончил мирно свое земное странствие в Москве, каким-то путем попав на небольшие роли в Малый театр. Иногда в ресторане Вельде или «Альпийской розе» он вспоминал свое прошлое, как он из бедного еврейского местечка на Волыни убежал от родителей с труппой бродячих комедиантов, где-то на ярмарке попал к Григорьеву и прижился у него на десятки лет.

* * *

В Тамбове на базарной площади, пахнувшей постоянно навозом, а в базарные дни шумной и пьяной, были лучшие тамбовские трактиры – Югова и Абакумыча. У последнего стояли два прекрасных фрейбергских бильярда, к которым и привел меня сыграть партию любитель бильярда Вася в первые дни моего приезда. Но сыграть нам не пришлось: на од-

ном играл с каким-то баритоном в золотых очках местный домовладелец Морозов, в долгополом сюртуке и сапогах бутылками, а на другом – два почтенных, кругленьких, коротеньких старичка.

Один из них, в цветном, застегнутом наглухо до седой бородки жилете, с рубахой навыпуск, нестерпимо скрипел своими сапогами – тогда была мода носить сапоги со скрипом; другой, в прекрасно сшитом черном, весьма поношенном сюртуке, неслышно двигался в черных замшевых сапожках, осторожно ступая подагрическими ногами.

Орлиный профиль, коротко подстриженные черные с проседью усы на бритом матово-смуглом лице, освещенном ласковым взглядом черных глаз, остановили на себе мое внимание. Так неожиданно было в тамбовском базарном трактире встретить такой тип.

Он стоял, опершись на кий, и улыбнулся, когда его партнер не сумел положить почти висевший над лузой желтый шар.

– Забил ты меня, князь. Прямо забил... – И старичок в сапогах со скрипом крикнул маркеру: – Федька, теплые сапоги!

В это время человек, названный князем, увидел нас:

– А, Вася! Очень рад.

Вася представил меня князю как своего друга.

– Очень рад! Значит, нам новый товарищ! – И крепко пожал мне руку. – «Vos intimes – nos intimes!» «Ваши друзья –

наши друзья!» Вася, заказывай вина! Икру зернистую и стерлядок сегодня Абакумыч получил. Садитесь. – Князь указал на стулья вокруг довольно большого «хозяйского» стола, на котором стояли на серебряном подносе с княжеским гербом пузатый чайник с розами и две низенькие трактирные чашечки, тоже с розами и золотым ободком внутри. На двух блюдечках лежали крупный изюм и сотовый мед.

На другой половине стола мигом явился графинчик с водкой, икра, балык, тарелки с княжескими гербами и серебряные ложки.

С Абакумыча маркер снял скрипучие сапоги и стал переобувать его в огромные серые валенки, толсто подшитые войлоком, а в это время вошел наш актер Островский, тоже пузатенький, но с лицом римского сенатора – прямо голова Юлия Цезаря!

– А... Василий Трофимович!.. Садись иди, водочку подали... икра...

– Нет, князинька, не могу... Не пью...

– Очень хорошо. Бери пример с меня: кроме чая с изюмом и медом – ничего.

– И рад бы, да не выходит! Попадет вожжа под хвост – и закручу на неделю! Вчера отпил. Вина видеть не могу!

– Ну, садись, садись!

Абакумыч переобулся. Вынул из кошелька гривенник за проигранную партию.

– На, получай. Становись, по двугривенному! Уж теперь

я и взбутетеню вашу светлость! Идет по двугривенному?

– Идет!

Партнеры увлеклись. Абакумыч двигал огромные валенки и не торопился, обрадовавшись всяческому, как тогда, над лузой шару. Островский закусил икры и балыка. Ему подали стакан и блюдечко малинового варенья, а нам бутылку розового кавказского вина, которое князь получил в подарок от своего друга из Озургет. Князь угощал им только лучших друзей и держал его в подвале Абакумыча, у которого и квартировал, когда подолгу живал в Тамбове. Островский был старый друг князя К.К. Имеретинского. При нем князь и попал в театр. Этот сезон и великий пост мы провели вместе с князем в Тамбове, а через год дружески встретились с ним в Москве, в Артистическом кружке, действительным членом и даже одним из учредителей которого он состоял. Любопытный тип был светлейший князь К.К. Имеретинский.

В Кружке он также пил чаек с изюмом и медом, бывал на всех спектаклях и репетициях Кружка, на всех премьерах Малого театра, но в тот сезон сам не выступал на сцене: страдал астмой.

Из Петербурга к нему приехал его младший брат, блестящий гвардейский офицер, флигель-адъютант, придворная особа. Таким же важным лицом был прежде при царском дворе и наш князь. Оба эти светлейшие Имеретинские, как потомки грузинских царей, были особенно отличены и, по получении образования в пажеском корпусе, определены ко

двору: старший, Константин, «числился» по гражданскому ведомству, а младший был выпущен в гвардию. Оба красавцы, образованные да еще «царской крови», Имеретинские могли бы занять самые высокие места, чего и достиг младший, в конце концов ставший наместником в Польше. До чего мог бы дослужиться старший, носивший уже тогда, когда еще младший был пажом, высокое придворное звание шталмейстера, трудно сказать, но...

Страстный любитель лошадей, князь поехал как-то на самую знаменитую конскую ярмарку – Коренную – и там подружился с Василием Трофимовичем Островским, маленьким актером бродячей труппы Григорьева. Эта ярмарка при Коренной пустыни Курской губернии еще в восьмидесятых годах поражала меня своей кипучей и пестрой суетой и необыкновенной обстановкой. А вот какой она была в то время, когда еще при «крепостном праве» Григорьев приехал целым обозом со своей труппой перед началом ярмарки, чтобы успеть построить дощатый театр? С каким восторгом, будучи в подвыпитии, Островский рассказывал о тех счастливых днях его актерской юности в Коренной, где он в одну из ярмарок, будучи семинаристом, гостил у своего дяди, дьякона, побывал в театре Григорьева и по окончании ярмарки уехал вместе с труппой. Через год на той же ярмарке он пел Всеслава в «Аскольдовой могиле», к великому огорчению своих родных примирившихся с совершившимся фактом только после того, как он познакомил своего дядю с бле-

стящим князем Имеретинским за обедом в придворном дощатом здании, выстроенном дворцовым ведомством специально для своего представителя, приехавшего покупать лошадей для царских конюшен. Когда дьякон попал на обед и увидел своего племянника в кругу аристократии, первым другом блестящего князя, дьякон и вся родня «простили заблудного», которого до этого они мнили видеть архиереем. Все это живо и образно рисовал нам Василий Трофимович во время своих ежемесячных загулов.

Да и было что рисовать!

Сотни плотников и разного мастерового люда гремели топорами и визжали пилами. Строились вокруг постоянных ярмарочных зданий легкие дома для помещиков, приезжавших на ярмарку со своими семьями и многочисленной дворней; река Тускарь белела купальнями.

«Панские ряды» в азиатском вкусе вновь красились и отделявались, триста деревянных лавок красовались в долине Тускари, а ларькам и счету не было. И все это кишело приезжими.

Во многих лавках в закрытых клетках пели соловьи, знаменитые курские соловьи, за которых любители платили сотни рублей. На развале – пряники, изюм, чернослив, шептала, урюк горами высились. Гармонисты, песенники, рожечники, гусяры – повсюду. Около материй толпились бабы в паневах, сарафанах и платках и модные дамы-помещицы. Коридор и полы лавок были мягки от свежего душистого сена и

травы – душистой мяты и полыни.

В Панских рядах барыни отбирали целыми кучами куски материй и галантереи, и торговцы присылали их в помещицьи ставки и драли за них, сколько хотели.

Но самый центр был – конская ярмарка. Любители и коннозаводчики, десятки ремонтеров приезжали из всех гвардейских и армейских полков на эту ярмарку и безумно сорили деньгами. Все перемешалось, перепуталось: от крепостников до крепостных рабов, от артистов и музыкантов до сотен калек-нищих, слепых певцов и лирников. И все это наживало и по-своему богатело. В первые дни на конскую ярмарку не допускались барышники и цыгане. Только когда уже налюбуются крэками заводов и накупят вдоволь помещики-коннозаводчики, навалятся и загудят барышники, захлопают бичами и заорут толпы цыган с нашпигованными разными, вплоть до скипидара и перца, снадобьями, резвыми на десять минут, взбодренными лошадками-калеками.

Насытившиеся покупками бары гуляли. Шампанское и заморские деликатесы лились реками и высились горами. Около барских ставок целый день стук ножей – десятки крепостных поваров стараются всюю.

Много рассказывал Василий Трофимович о коренной ярмарке и о том, как он с Имеретинским подружился:

– Труппа была у нас веселая и недурная. Мы только приготовили сцену и репетировали, как приехали придворные. Конюшни их были построены недалеко от театра. Как-то на

репетиции зашел молодой чиновник – это и был князине-ка. После репетиции пошли к нам обедать, тут же при театре. Жили мы попросту: большой стол в сенях, кухня рядом. Щи хлебали из общих чашек деревянными ложками. Помню, подали огромный противень – бараний бок с кашей. И князь с нами ест, угощали водкой – не пьет. А бараний бок ему понравился. Своего повара сейчас же прислал учиться, как его жарить. На другой день князь всей нашей труппе ответный обед закатил... Что было! И шампанское, и всяческие бламанжи, и рябчики, а посуда вся с царскими орлами, и служат нам лакеи в ливреях. Сперва молча ели, потом стали стихи читать, монологи, петь начали, а потом уже дошли до точки. А князь смеется да радуется... Пьяные подходят к нему, обнимаются, целуют по актерской привычке, а он ничего, на «ты», пили... Только он лимонад пил, вина не употреблял, упросить не могли... Нашим актрисам почтительно ручки целовал, и никакого ухаживанья! Как с придворными дамами обращался. Потом при прощании всем подарки поднес. Качевскому пенковую трубку дорогую, и сейчас она у него. Мне серебряный кавказский пояс, Григорию Ивановичу старинную стопу – цены нет. А на другой день опять на репетицию пришел. Да и зачастил. Репетицию всю просидит в кулисе с Григорием Ивановичем, пьесы брал читать. Вечером всегда в театре в своем обществе, а за кулисы забежит. Прямо жить без нас не мог! – закончил свой рассказ Островский.

После Коренной ярмарки князь увлекся театром, бросил придворную службу, переехал в Москву и неожиданно для «высочайшего двора», с которым он порвал все отношения, стал играть в любительских кружках.

На какие-то, не особенно крупные средства от княжеского имущества Имеретинский жил очень скромно. Он пользовался уважением и почетом среди тамбовского дворянства.

Со всеми актерами князь вел себя по-товарищески, со многими был на «ты». Звали его все «князь», но отнюдь не «ваша светлость», как звало его все тамбовское начальство. Тамбовский театр процветал, и публика относилась к нему и антрепренеру Григорьеву с особым уважением. Здесь не было провинциальных ухаживателей, подносивших подарки хорошеньким женщинам, а не хорошим артисткам, не было «шлянья» в уборные ухажеров. За кулисы проходили только настоящие любители: Сатины, Ознобишины, из которых Илья Иванович, автор нескольких пьес и член Общества драматических писателей и Московского артистического кружка, был сам прекрасный актер.

В числе немногих, почетно принятых за кулисами, был начальник восемнадцатой дивизии генерал Карцев, впоследствии, в 1877 году, прославившийся тем, что дивизия под его командой первой перешла Дунай. В литературе Карцев известен своими мемуарами. Таким же любителем театра в Рязанском полку был и адъютант Эльснер, ставивший солдатские спектакли, для которых Григорьев давал ему костю-

мы. Эти спектакли всегда режиссировал кто-нибудь из наших актеров. На каждый спектакль своего театра Григорьев посылал в полк двадцать билетов на галерку и два билета в партер. Эльснер был первым офицером, получившим Георгия за то, что во главе своей роты перешел Дунай.

* * *

Как-то уже после того, как я познакомился с князем, я увидел в кабинете Григорьева прошлогоднюю афишу:

«В тамбовском театре под управлением К.К. Звездочкина в бенефис К.К. Звездочкина поставлена будет „Свадьба Кречинского“. Роль Расплюева исполнит бенефициант».

Узнаю, что в прошлом году театр держал Звездочкин, известный московский любитель, и что этот Звездочкин и есть князь Имеретинский. Служить у него считалось за большое счастье: он первый повысил актерам жалованье до неслыханных дотоле размеров. Звездочкин три раза был антрепренером, неизбежно прогорал и снова жил то в Москве, то в Тамбове, где изредка выступал на сцене. В Тамбове он останавливался у Абакумыча и был рад, когда ему удавалось «загнать Абакумыча в валяные сапоги» и выиграть у него гри-венник на бильярде. Первый раз он снял театр на зиму у Григорьева, получив откуда-то наследство, которое и ухлопал в один сезон. Потом еще два наследства потерял на антрепризе: несмотря на то, что тамбовская публика охотно посещала

театр, расходов не окупали даже полные сборы.

И снова театр держал Григорьев, и снова около него ютились старые друзья-актеры, приходившие если не послужить, так пожить у старого друга.

Летом, вместо того чтобы отдыхать, Григорьев играл по маленьким городишкам и ярмаркам специально для того, чтобы прокормить своих старых друзей, много лет считавших и дом и театр Григорьева своими.

«А семья-то?.. Кто их кормить будет?.. Ведь двадцать душ, кроме тех, что придут!..»

Это был разговор только о друзьях-актерах, ядре его постоянной труппы, хотя половина их ни в одну труппу не была бы принята.

Собственно же семья у Григорьева была небольшая. Он сам, шестидесятилетний, могучий, не знающий устали старик, давно овдовел. Вторая, гражданская жена его, Анна Николаевна, настолько некрасивая, что ее даже на сцену выпускать было нельзя, и дочь ее лет двадцати двух, актриса на маленькие роли, Николаева, – обе почти незаметные существа, которые вели домашнее хозяйство, были скромны, молчаливы, ни с кем не ссорились и не сплетничали.

Григорий Иванович относился к ним ласково, как и ко всем своим, которым говорил, кроме самых близких, «вы», да еще прибавлял «с», особенно когда кого застанет в подвыпитии.

«Вы что же-с, Иван Ардальоныч? Опять-с?..»

Чаще других усовещевал он Семилетова, который во хмелю был буен, но чуть показывался Григорий Иванович, сразу же стихал как в воду опущенный.

Однако был случай, когда Григорьев его выгнал. Напившись в ресторанчике Пустовалова, Ваня поднялся наверх, где шла репетиция. Идет, шатаясь во все стороны, и угрожающе орет, размахивая кулачищем:

– Всех расшибу я до полушки! Начну с Адамовой головы!..

Репетировали «Ревизора». Григорьев был один из самых лучших городничих, каких когда-либо я видел. Он сидел в кресле и вполголоса читал свой монолог: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь!..»

Вдруг остановился, услышав оранье, и голову поднял.

Я в первый и последний раз видел его таким, даже жутко стало. Все замерли, а Ванька ввалился уже на сцену и орет, никого и ничего не видя:

– Начну с Адамовой головы!..

– Нет, уж довольно-с, – как-то прошипел на весь театр Григорьев, вскочил с кресла и двинулся навстречу к Семилетову. – Довольно-с!..

И так мазнул по уху бросившегося на него с кулаком Ваньку, не узнававшего никого, что тот через рампу перелетел в оркестр и дико выл от боли, лежа между сломанными пюпитрами.

Григорий Иванович стоял и тяжело дышал, а на глазах

слезы.

Все мы стали его успокаивать, усадили в кресло.

– Извините меня... В первый раз в жизни не сдержался... Ну, подумайте... За что же оскорблять женщину?.. Да еще не виноватую в том, что она такая.

После уж от Васи я узнал все. «Адамовой головой» кто-то со злости назвал Анну Николаевну, о чем до этого случая никто не знал. Действительно, бледная, с большими темными, очень глубоко сидящими добрыми глазами и с совершенно вдавленным носом, она была похожа издали на череп.

Судя по лицу, можно было думать, что это результат известной болезни, но ее прекрасный голос сразу опровергал это подозрение.

И вот этот самый нос и сделал Анну Николаевну женой Григорьева. Единственная дочь небогатого воронежского торговца-вдовца, она была против воли выдана замуж через сваху за какого-то чиновника, который оказался пьяницей и бил жену нещадно, упрекая ее за то, что она не принесла ему приданого.

Когда дочке Анны Николаевны, Мане, было два года, умер ее отец, не оставивший после себя ничего, кроме долгов. Пьяный муж, озлобившись, схватил жену за косу и ударил ее лицом о печку, раздробив нос и изуродовав лицо. В тот же год его самого сослали по суду в Сибирь за кражу казенных денег.

Женщина осталась с дочкой – ни вдова, ни замужняя, без

куска хлеба. Это было в Воронеже, она жила в доме купца Аносова, дяди Григория Ивановича, куда последний приехал погостить. За год до этого, после рождения младшей дочери Нади, он похоронил жену. Кроме Нади, остались трехлетний Вася и пятилетняя Соня. В семье дяди Григорий Иванович встретился с несчастной Анной Николаевной, которую с ее пятилетней дочкой приютили Аносовы – сами люди очень небогатые. Григорий Иванович предложил ей место воспитательницы своих детей и увез ее в Тамбов. Выбор оказался прекрасным. Анна Николаевна воспитала детей вместе со своей дочкой. Ее любимицей была старшая Соня, в полном смысле красавица, с великолепным голосом, который музыкальная мачеха, хорошая певица, развила в ней сама, и маленькая девочка стала вскоре в подходящих ролях выступать в театре отца, а Вася стал помощником режиссера.

Васю Григорьева никто не называл Василием Григорьевичем: Вася да Вася или Васенька, до самой его кончины уже в начале этого столетия, о которой я узнал в Москве от его друга Володи Кригера.

– Вася умер на днях, слышал? В Козлове, от угара, на своей постели... Истопили печь, рано закрыли, – рассказывал этот бодрый, всегда веселый человек, а у самого слезы градом.

И с кем из актеров, наших общих друзей, я в тот год да и после ни встречался, все мне сообщали с печалью:

«Вася умер!»

Фамилии даже не называли, а только: Вася. И лились воспоминания о безвременно погибшем друге – добром, сердечном человеке. Женат был Вася на младшей из артистической семьи Талановых. Супруги никогда не разлучались, и в злополучный день – служили они в Козлове – жена была в театре, а он не был занят в пьесе, уснул дома, да так и не проснулся.

При воспоминании о Васе всегда передо мной встают яркие картины и типы моего первого театрального сезона в 1875 году.

Драматическая труппа была великолепная; кроме драмы, ставились оперетки и даже оперы.

Была поставлена и «Аскольдова могила». Торопку пел знаменитый в то время тенор Петруша Молодцов, а Неизвестного должен был петь Волгин-Кречетов, трагик. Так, по крайней мере, стояло в афише. Репетировали без Неизвестного. Наступил день спектакля, а на утренней репетиции Волгина-Кречетова нет.

– А как же Неизвестный? Ведь Волгин не приехал? – спрашивают Григория Ивановича.

Григорьев хитро улыбается:

– Ничего-с, репетируйте-с. Неизвестный придет-с... Он опытный, без репетиции споет.

Срепетировали без Неизвестного. Вышли на спектакль. Гримируемся. А Волгина-Кречетова нет.

– Григорий Иванович, как же?.. Ведь Неизвестного нет...

Отменим спектакль, – горячится режиссер Песоцкий.

– Он у меня-с остановился... Гримируется в моем кабинете. Волгин не приехал, так я другого пригласил.

– Анонсировать надо?

– Зачем же-с! Волгина здесь не знают, ну, за Волгина и сойдет-с. Это знаменитость, известный Неизвестный. Да вот он! Позвольте познакомить.

Перед нами стоял редкой красоты гигант с небольшой темной бородой и вьющимися кудрями по плечам. Шитый красный кафтан, накинутый на одно плечо, синий суконный охабень еще более увеличивали и без того огромную стройную фигуру.

Все мы так и ахнули, – что за сила, что за красота!

Театр был полон. Появление красавца Неизвестного вызвало шумные аплодисменты, а после первой арии театр дрожал и гудел. Во время арии случился курьез, который во всякое другое время вызвал бы хохот, но прекрасно пропетая ария захватила публику, и никто не обратил внимания на то, что «по волнам Днепра» в глубине сцены, «яко посуху», разгуливали две белые кошки.

Дня за три до «Аскольдовой могилы» ставилась в первый раз какая-то обстановочная пьеса, и на утренней репетиции к Васе подошел реквизитор Гольдберг за приказаниями, Вася, только что вернувшись из трактира Абакумыча, был навеселе и, вместе с нужными для спектакля вещами, шутки ради, выписал двенадцать белых кошек. Перед нача-

лом спектакля явился в режиссерскую Гольдберг.

– Василий Григорьевич, чисто белых только девять, а три с пятнышками.

– Что такое?

– Кошки. Вот ваша записка: «Двенадцать белых кошек». Ну, так во всем Тамбове только девять чисто белых оказалось... И то две кошки у просвирни взял, по рублю залогом оставил.

– Тащи их сюда.

Вася рассказал окружающим, как он пошутил, выписав кошек.

Явился Гольдберг с мешком. Мяуканье, визг!..

– Развязывай!

Вася схватил мешок и вытряхнул кошек. Те стаей бросились на сцену и довели до обморока какую-то актрису.

Гольдберг рвал на себе седые волосы, ругался. В два дня он переловил с помощью рабочих семь кошек, а пять так и остались жить в театре.

И вот две такие кошки путешествовали «по Днепру» в «Аскольдовой могиле».

С громадным успехом прошла опера благодаря Неизвестному и Торопке.

Занавес, после долгих вызовов, опустился, и Неизвестный ушел наверх, в квартиру антрепренера, заинтриговав всех.

– Кто? Кто? – только и разговоров было.

Мне раньше других пришлось узнать Неизвестного.

После спектакля я уснул на ящиках из-под вина, покрытых буркой, которые заменяли мне кровать.

Вдруг сквозь сон слышу в коридоре голосище Неизвестного:

Скоро полночь – час ужасный.

А Всеслава нет, как нет.

И сразу свет хлестнул в глаза.

– А вот и мы пришли, – загремел надо мною бас на мотив Аяксов из «Елены Прекрасной».

Предо мной стоял Вася с лампой, В. Т. Островский, Петя Молодцов с водкой, старый актер А.Д. Казаков с блюдом хлеба и огурцами и с колбасой в руках и Неизвестный в... лиловой рясе.

Кое-как все уселись и начали пить. Неизвестный оказался дьяконом из соседнего города. Он знал назубок много опер, потому что ранее учился в Москве в семинарии, был певчим в архиерейском хоре и одновременно хористом в театре.

– Утром ангелов представлял, а ночью дьяволов изображал, – пояснил он.

Для него Григорьев и «Аскольдову могилу» ставил, а для Григорьева, по старой дружбе, дьякон рискнул сыграть.

Про этого дьякона мне пришлось слышать немало анекдотов. Скорее светский человек, чем духовный, «душа общества», он был веселый собеседник, любил посещать театры,

пользуясь возможностью, благодаря знакомству с артистами, бывать за кулисами.

Раз он в своем породе попал в маскарад. Но широкое домино не скрыло его богатырской фигуры. Его узнали и окружили в маскараде; дамы наперерыв говорили одно и то же:

– А мы тебя, маска, знаем.

– Ну, а знаете, скажите.

– Отец дьякон.

Встал отец дьякон в позу и на весь зал рявкнул в ответ:

– Чуют правду!

В пачке запыленных афиш, висевших на стене комнаты В.Т. Островского, я увидел старую тамбовскую афишу: «Птички певчие» – бенефис А.Д. Давыдова. Роль Периколы исполнит С.Г. Бороздина».

– Это кто? – спросил я.

Островский поднялся со стула и разорвал афишу.

– Хорошо, что ты нашел ее. А то увидел бы Григорий Иванович – беда... Не вздумай упомянуть при нем имя Сашки Давыдова да и Сони.

И рассказал мне тайну семьи Григорьевых. С детства Сонечка, старшая дочь Григория Ивановича, играла на сцене. Однажды она выступила в роли Периколы в «Птичках певчих» вместе с приглашенным в труппу молодым, но уже известным Давыдовым. Успех ее был огромный. Оперетка тогда только начала входить в моду, а такой молодой Периколы, Булоты и Прекрасной Елены тамбовская публика не ви-

дела. Лучшего Париса, Пикколло и Рауля – Синей Бороды не было тогда ни в одном театре. О Давыдове и Бороздиной – так отец назвал свою Соню в честь знаменитой артистки – даже в столичной печати заговорили. Но не на радость все это было Григорьеву.

Картежник и гуляка, Давыдов был известен своими любовными похождениями. Соня, как и надо было ожидать, безумно влюбилась в него, и молодые люди тайно сошлись. На первой неделе поста дочь вдруг заявила отцу, что она уезжает с Давыдовым, и, несмотря на слезы и просьбы стариков, уехала.

Портреты дочери исчезли из кабинета отца. Все афиши с ее именем были сожжены.

– У меня-с одна дочь, Наденька, и она никогда не будет на сцене-с, – говаривал старик, продолжая свое театральное дело.

В семье имя Сони не упоминалось, а слава Бороздиной росла, и росли также слухи, что Давыдов дурно обращается с ней, чуть ли даже не бьет. Дурные вести получались в труппе, и наконец узнали, что Давыдов бросил Бороздину, променяв ее после большого карточного проигрыша на богатую купчиху, которая заплатила его долги, поставив условием, чтоб он разошелся с артисткой.

И тут же новый слух, еще более ужасный:

– Соня сошлась с Тамарой.

Это был второстепенный актер, игравший первые роли в

разных южных городках, но более известный как аферист, игрок и сутенер.

Соня отвергала всех, с кем знакомил ее Тамара, за что он и бил ее смертным боем. Все это доходило до Тамбова, а может быть, и до Григория Ивановича. Он и слова не говорил и только заставил Надю поклясться, что она никогда не пойдет на сцену.

И сдержала Надя свое слово, но все же театра не миновала. Вскоре она вышла замуж за режиссера Владыкина, прекрасного, образованного человека, который исполнил завещание Григорьева и ни разу не выпустил свою жену на сцену. Да и некогда ей было: с первого же года пошли дети, и вся она отдалась воспитанию их. Уже через много лет, проезжая через Киев, я был в театре Н.Н. Соловцева, который меня и познакомил со своим режиссером Владыкиным. Он произвел на меня прекрасное впечатление. Владыкин меня очень звал посетить его дом.

– Как вам будет рада Надя! Когда приезжает к нам в гости Вася, то у них только и разговора, что о вас, так что заглазно мы хорошо и давно знакомы.

Но с утренним поездом я должен был уехать в Москву, и не пришлось мне повидать Надю.

Вася Григорьев весь жил театром, никогда не стремился к славе, не искал ролей, играл добросовестно все, что ему давали. Удавались ему роли простаков и вторые в оперетках. Голос был небольшой, весьма приятный тенор, пел, ко-

гда, как говорится, разойдется, под гитару, без устали. Самой любимой его была песня казанских и харьковских студентов «Избушка», которую выучил его петь Селиванов, бывший харьковский студент, потом известный драматический актер конца семидесятых годов. Еще будучи совсем молодым, он имел большой успех в провинции, особенно в Харькове, Киве, Одессе и Воронеже, – учащаяся молодежь его «обожала». В Воронеже, где Вася гостил у своего дяди – деревенского мельника, он и познакомился с Селивановым. Тимоша (Селиванов) тогда был еще гимназистом последних классов, проводил каникулы у сельского учителя в соседнем селе, откуда ходил на мельницу ловить рыбу. Тут они и подружились. Вася пел арии из оперетт, а у своего друга выучил «Избушку», которая на всю жизнь и осталась любимой песней Васи. У него же он выучился петь «Дубинушку» и по секрету мне, одному, наедине, шепотом напевал строчки:

Вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...

Впоследствии Селиванов, уже будучи в славе, на московском съезде сценических деятелей в 1886 году произнес с огромным успехом речь о положении провинциальных актеров. Только из-за этого смелого, по тогдашнему времени, выступления он не был принят в Малый театр, где ему был уже назначен дебют, кажется, в Чацком.

Селиванову отказали в дебюте после его речей:

– Политику в императорских театрах разводить нельзя-с!

И с тех пор Селиванов окончательно застрял в провинции, охранка запретила ему въезд в Москву, а там и слухи о нем пропали. Вася получал от него приветствия через знакомых актеров и сам посылал их с теми, кто ехал служить в тот город, где был Селиванов, а потом следы его потерялись.

Пешком по шпалам

На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее «на слово» порешила служить *у него* следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил:

– Силой мил не будешь! Спрячьте-с!

Почти все поехали в Москву на великопостный актерский съезд, а «свои» – семья старых друзей-актеров – остались, и тут же была составлена маленькая труппа из десяти человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городкам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие, как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники» Шиллера, могли играть десять актеров. Все эти пьесы оставшейся труппой, кроме меня, новичка, были играны-переиграны и шли гладко, почти без суфлера.

Из новых актеров попал в нашу труппу Изорин.

Князь Имеретинский тоже уехал на великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру, и прекрасный фрейбергский бильярд, единственный в то время

во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на грифельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрились свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках, Николай Назарыч, мне проигрывали партии «так на так». Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй – Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово-Кобылин.

Вечера с Васей мы проводили за бильярдом, а весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До григорьевской библиотеки, со времени гимназии, я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась.

Евстигнеев опять поступил на телеграф, Дорошка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что, когда их венчали, священник сказал им вместо поучения:

– Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит!

Главный же закоперщик наших пьяных компаний Семилетов совершенно изменился после скандала с «Адамовой головой».

Изгнанный из театра перед уходом на донские гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощенья. На эту сцену случайно вошел Григорьев, произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет. И сдержал свое слово: пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре. Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом – гостиницу с номерами – и в нем хорошенькую небольшую сцену.

Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам выезжал. Это был высокий молодой человек в собольей поддевке и такой же шапке, совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр, а так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на двенадцать тысяч рублей, из которых ему было нужно две тысячи передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти:

«Расходы по охоте

Ездовые рукавицы с лесктрическими пробками для резвости на приз по 100 рублей, 6 пар – 600 рублей.

Копытная мазь из крокодилового нутра для твердости из Парижа и Лондона – 300 рублей.

Наглазники, чтобы лошади не бесились и не пугались, на 12 лошадей, по 20 рублей – 240 рублей.

Беговые дрожки из Москвы от Арбатского и разная сбруя – 2550 рублей и т. д. и т. д.

Весь счет на сумму 12628 рублей».

О театре – ни слова, а это ему вскочило в копеечку. Вся труппа жила в его новой гостинице – прекрасной, как в большом городе. Квартира и содержание всей труппы шли за счет Иванова. Все проходило по секрету от матери, безвыездно жившей в своем имении в окружении старообрядческих начетчиков и разных стариц, которых сын ублажал подарками, чтоб они не сплетничали матери о его забавах.

Сыграли мы десять спектаклей, и накануне отъезда Иванов дал прощальный обед, на котором присутствовали местные дворяне со своим предводителем.

Особый успех в это время имел Изорин – новый актер в нашей труппе. Однажды в Тамбове Илья Иванович Ознобишин привел на репетицию изящного мужчину средних лет с проседью на висках и с белыми ниточками в красивых, выхоленных, коротко подстриженных усах. Накануне внезапно заболел, простудившись, Песоцкий, который должен был играть Жоржа д'Орси, француза, в комедии «Гувернер». Узнав о болезни Песоцкого, Ознобишин обещал доставить на другой день актера, который мог бы заменить Песоцкого, пре-

красно игравшего эту роль.

Манеры, фигура, изящный французский выговор, знание роли нового актера поразили нас всех. На второй День масленицы ставили «Дон Сезар де Базан». На афише было объявлено, что заглавную роль исполнит Н.П. Изорин, выступавший в ней в Париже. Успех огромный. *Я видел лучших актеров этой роли, от Далматова до Петипа включительно, и все-таки считаю Изорина наилучшим, и Гувернера лучшего я тоже никогда не видывал.* Впрочем, помню прекрасного Гувернера, которого я видел в 1876 году в Московском артистическом кружке, – это был тоже не профессиональный актер, а любитель. Фамилия его была Беляй.

На Масленице Изорин выступал еще два раза в Карле Море. Когда в Тамбове кончился сезон, на прощальном ужине отъезжавшие на московский съезд предложили Изорину ехать с ними в Москву, где, по их словам, не только все антрепренеры с руками оторвут, но и Малый театр постарается его захватить.

Изорин встал, красивым жестом поднял бокал и сказал, что, пока Малый театр будет стараться его захватить, его успеют захватить другие, чего ему очень и очень не хочется...

– Рад бы в рай, да грехи не пускают, ведь я из тех, кому запрещено «на выстрел подъезжать к столице»! – И обратился к Григорьеву: – А вот если Григорий Иваныч возьмет меня на лето с собой в Моршанск, там я полноправный гражд-

данин.

В Тамбове Изорин появился перед масленицей, мирно проживал у своего друга, стараясь меньше показываться в «высшем» обществе, где были у него и друзья и враги. Но враги не личные, а по политическим взглядам.

Последние, из старых крепостников, называли его якобинцем, а чиновники, имевшие от правительства по службе секретные циркуляры, знали, что дворянину Николаю Петровичу Вышеславцеву, высланному из Парижа за участие в Коммуне в 1871 году, воспрещается министром внутренних дел проживание в столицах и губернских городах по всей Российской империи.

В Париже Н.П. Вышеславцев прожил в течение нескольких лет свое состояние и впоследствии был привлечен за участие в Коммуне, но, как русский дворянин известной фамилии, не был расстрелян, а только выслан.

Когда он явился в Россию без гроша денег, родственники-помещики отшатнулись от «якобинца», и он жил у своих друзей по их имениям.

* * *

Моршанск в то время был небольшим городком, известным хлебной торговлей; в нем жило много богатых купцов, среди которых были и миллионеры, как, например, скопцы Плотицыны. Подъезжающих к Моршанску встречали сотни

ветряных мельниц, машущих крыльями день и ночь. Внутри города, по реке Цне, стояла когда-то громадная водяная «Кутайсовская» мельница со столетней плотиной, под которой был глубокий омут, и в нем водились огромнейшие сомы.

На берегу Цны, как раз против омута, в старинном барском саду, тогда уже перешедшем к одному из купцов-миллионеров, находился наш летний театр. Около театра, между фруктовыми деревьями, стоял обширный двухэтажный дом, окруженный террасами, куда выходили комнаты, отведенные труппе. Женатые имели отдельные комнаты на верхнем этаже, холостые помещались по двое и по трое. Там же, рядом с квартирой семьи Григорьева, была и большая столовая, но обедали мы больше на широкой террасе, примыкавшей к столовой.

Обед подавался ровно в два часа, после репетиции. Все садились за общий стол – на одной половине семейные, на другой – холостяки. У некоторых отдельные тарелки, свои серебряные ложки, а мы хлебали из общих чашек, куда крошили мясо, и брали его деревянными ложками только тогда, когда до дна кончали первую подачу щей и нам подливали вторую. На второе давали всякое жаркое: то целый баран на двух противнях, то телячья нога, то гусь с картошкой или индюшка. По воскресеньям обязательно бывали пироги. Всем хозяйством заведовали Анна Николаевна и Надя, в свободное время варившие в саду на жаровнях огромное количество варенья на зиму.

Труппа все время пополнялась. Приходили из разных городов безвестные актеры.

– Григорий Иваныч, я к тебе, – заявляется «благородный отец» Никонов.

Или слышен голос комической старухи Бессоновой, знакомой Анны Николаевны:

– Мой-то мерзавец от меня с хористкой бежал!.. И гардероб весь она увезла, подлюга!

– Ступай наверх, сейчас обедать будем, или к Семилетову, он комнату укажет, – говорил Григорий Иванович Никонову.

– Бедная Марья Егоровна! Ах, он негодяй! Пойдем варенье варить!

Обнимутся, расцелуются.

Сборы были недурные. Особым успехом пользовался Изорин и, как всегда, Григорьев. Вася играл певучих простаков и водевили с молоденькой актрисой Ермиловой. Труппа была трезвая, разве только иногда Изорин «нарежется» дорогими винами – водки он не пил. Григорьев не давал ему денег на руки, а пару платья и пальто, сшитые у лучшего портного, выдали Изорину в счет жалованья, да неудачно: получил он платье в «запойную полосу», тут же его продал и приехал в сад из города с корзиной коньяку «Финь-Шампань» и бутылками шамбертена.

Так без пальто и проходил Изорин весь сезон, появляясь в своем заграничном плаще, ночью служившем ему одеялом, и в поношенной уже чесучовой паре, которую часто отдавал

в стирку, а пока стирали, ходил на репетиции, эффектно задрапировавшись в тот же плащ. Наконец, Григорьев сам привез ему от портного казინетовые штаны и пиджак.

Приехал еще Львов-Дитю и привез с собой Соню. Он нашел ее в самом несчастном положении в Липецке, в гостинице, где ее бросил Тамара, обобрав у нее даже последние кольца. Она была совершенно больна, и только хозяин гостиницы, друг Григорьева, кормил, лечил ее и предлагал денег, чтобы доехать до Тамбова. В это время Львов узнал о ее положении и поспешил к ней. Соня обрадовалась ему, как родному, и, узнав, что отец с трупой в Моршанске и что в Тамбове, кроме дворника Кузьмы с собакой Леберкой, в театре никого нет, решила поехать к отцу по совету Львова. Он проводил ее, – Соня была слаба и кашляла кровью. Как-то в шесть часов утра Вася разбудил меня и рассказал, что Соня приехала безнадежно больная. Ее поместили в маленьком павильончике, где жили супруги Казаковы, а их перевели к нам в дом. Но и в этом уютном павильончике больной было беспокойно: с шести вечера до двух ночи гремел на эстраде военный оркестр вперемежку с разными рожечниками, гармонистами и другими шумными аттракционами. Григорий Иванович решил поместить Соню под Тамбовом, в имении своего друга доктора, но без себя не решался отпустить дочь в дорогу, а отъезд его срывал весь репертуар, державшийся отчасти и на нем.

Этот вопрос решила открытка Семилетова из Кирсано-

ва: «Театр в порядке, освещение налажено, оркестр для антрактов имеется, квартиры для актеров приготовлены, афиши расклеены».

Сезон закончили с адресом Григорьеву от публики и подарками кое-кому из актеров. Григорьев с семьей, Казаковы и Львов-Дитю, который вынес Сонечку на руках в экипаж, выехали вечером, а мы, чтобы не обращать на себя внимания жителей, отправились в ночь до солнечного восхода. Не хотели разочаровать публику, еще вчера любовавшуюся блестящими грандами, лордами, маркизами и рыцарями, еще вчера поднесшую десятирублевый серебряный портсигар с надписью: «Великолепному Н.П. Изорину от благодарного Моршанска».

Миновав глухими, сонными улицами уже шумевший базар, проследовала наша телега, на которой сидели три дамы: хорошенькая Ермилова, куколка Рыбакова, ворчунья Бессонова, и величественный, в золотых очках Качевский – за кучера. А кругом мы – кто как, кто в чем... Миновав благополучно городскую заставу, от которой остался еще один раскрашенный угольниками казенный столб бывшего шлагбаума, мы двинулись по степи, оживленной свистом тушканчиков. На утреннем ветерке мельницы там и тут, по всему горизонту, махали крыльями: большие, шатровые мельницы и маленькие избушки на курьих ножках с торчащим вбок воротом, которым мельник, весь в муке, подлаживал крылья под ветер. Навстречу нам тащились телеги с зерном. Воз-

чки, мужики в серых понитках сверх домотканых рубах, снимали картузы или шляпы-гречушники и отвешивали поклоны. Долго стояли они, пораженные величием Изорина в шляпе Карла Моора с огромными полями и осанкой высокого юноши Белова, важничавшего перед встречными своей красно-желтой кофтой из блестящей парчи, в которой еще на днях Бессонова играла сваху в «Русской свадьбе». На голове у него была, тоже из реквизита, фуражка с красным околышем и кокардой, которую могли носить только дворяне и военные. Белов был крестьянин, сын кирсановского портного, работавшего иногда на приезжих актеров. Он убежал от отца в театр и играл у нас в Моршанске маленькие рольки. Впоследствии, года через три, Белов играл в Пензе Гамлета, а пока он гордо и важно откозыривал мужикам.

Изорин сначала вынимал из поднесенного портсигара папироски «Заря», два десятка которых купил в городе, а потом где-то в деревне раздобыл махорку и до самого Кирсанова искуривал уцелевшую в кармане какую-то роль, затягиваясь с наслаждением «собачьей ножкой», и напевал вполголоса: «Allons enfants de la patrie», благо в глухой степи некому запретить ни «Марсельезу» якобинцу, ни дворянскую фуражку сыну деревенского портного.

На наше счастье, все время погода была великолепная – ни дождей, ни обычного в то время жгучего суховея с астраханских и задонских степей. Ночи были теплые, тихие. Спали мы вповалку, разостлав на земле палатку, которую взяли

на случай дождей. Утром мы раздували костерчик, кипятили чайник, днем варили обед, благо картошка даром (рыли в полях), а вечером так же ужинали. Было у нас пшено и греча – кулеш варили с салом и ветчиной, иногда в редких деревнях покупали яйца, молоко, баранину, курицу. Когда перед отъездом мы попросили Григория Ивановича купить нам картошки (а она была пятиалтынный мера), то он сказал:

– Помилуйте-с, где же это видано, чтобы в августе картошку покупали? Ночью сами накопаете.

* * *

Ваня Семилетов нашел нам квартиры дешевые, удобные, а кто хотел – и с харчами. Сам он жил у отца Белова, которого и взял портным в театр. Некоторые актеры встали на квартиры к местным жителям, любителям драматического искусства. В Тамбов приехали Казаковы и Львов-Дитю. Григорий Иванович был у больной дочери. Его роли перешли к Львову, и он в день открытия играл Городничего в «Ревизоре».

Григорий Иванович, по традиции, каждый сезон открывал обязательно «Ревизором» всюду, будь то губернский город или ярмарочный театр. Для последнего у него был особый «Ревизор», так сильно сокращенный, что труппа в десять человек играла его.

Играли по несколько ролей каждый, все было очень хорошо. Я играл Добчинского, купца Абдулина и Держимор-

ду, то и дело переодеваясь за кулисами. Треуголка и шпага была одна. Входившие представляться чиновники брали их поочередно. Огромный Городничий повторял свою роль за суфлером, но это уже был не Качевский, его вытребовал Григорьев, а молодой прекрасный суфлер С. А. Андреев-Корси-ков.

Вместо уехавшего в Тамбов Семилетова приехал новый декоратор, Яковлев-Чумак, попавший в театр из чумаков: в юности он на волах соль из Крыма возил.

Как бы то ни было, сезон закончился хорошо, труппа переехала в Тамбов, Андреев-Корси-ков сманил меня в Рязань, куда получил ангажемент, и мы с ним зашагали по шпалам из Кирсанова в Рязань, ночуя под ставками снеговых щитов, сложенных избушкой, закусывали на станции всухомятку и баловались чайком у путевых сторожей.

От станций мы держались подальше, так как всех документов у нас было – по паре афиш с моим псевдонимом. Андреев-Корси-ков мог указать любую фамилию на афише, так как он был безымянный суфлер. Паспортов у нас не было, а Андреев-Корси-ков мог бояться всяких властей не меньше меня – недаром он сразу подружился с Изориным и распевал с ним «Марсельезу», которую никто кругом не понимал. Уж много после я узнал, что Андреев-Корси-ков был народником и в Москве в начале семидесятых годов ютился в «Чернышах» то у Васильева-Шведевенгера, то у Мишлы-Орфанова, а потом служил в Александрийском театре и был выслан из

Питера за хранение революционных изданий.

* * *

Шли хорошо до Тамбова, но там никого не застали – театр был заперт, и ресторан Пустовалова еще не открывался. Заняли у дворника Кузьмы два рубля и зашагали дальше по шпалам.

Я был одет в пиджак, красную рубаху и высокие сапоги. Корсиков являл жалкую фигуру в лаковых ботинках, шелковой, когда-то белой стеганой шляпе и взятой для тепла им у сердобольной или зазевавшейся кухарки ватной кацавейке с турецкими цветами. Дорогой питались желтыми огурцами у путевых сторожей, а иногда давали нам и хлеба. Шли весело. Ночевали на воздухе. Погода стояла, на наше счастье, теплая и ясная. Перед Ряжском начались дожди. Здесь непривычный Корсиков, окончательно лишившийся лаковых ботинок, обезножел, и мы остановились в номере и стали ходить на вокзал, чтобы устроить как-нибудь проезд до Рязани. Хозяин, видя наши костюмы, на другой же день стал требовать деньги и уже не давал самовара, из которого мы грелись простым кипятком с черным хлебом, так как о чае-сахаре мы могли только мечтать. Корсиков днем ушел и скрылся, Я ждал его весь день.

Наконец вечером ко мне стучат. Молчу. Слышу – посылают за полицией. Это единственно, чего я боялся, так как

паспорта, как я уже говорил, никогда не имел и считал его совершенно излишним, раз я сам налицо. На улице дождь, буря, темь непроглядная. Я открыл окно и, спустившись на руках сколько можно, прыгнул в грязь со второго этажа и с тех пор под этим гостеприимным кровом более не бывал.

Корсиков оказался в Рязани, куда уехал со случайно встреченным приятелем; впрочем, за это коварство я ему благодарен: он меня стеснял дорогой своей слабостью.

Весь мокрый, голодный, я вскочил на площадку отходившего товарного поезда и благополучно ехал всю ночь, только подъезжая к станции, соскакивал на ходу, уходил вперед и, когда поезд двигался, снова садился.

Как бы то ни было, а до Рязани я добрался. Были сумерки, шел дождь. Подошвы давно износились – дошло до родительских, которые весьма и весьма страдали от несуразной рязанской мостовой.

Добрался до театра. Стучу. Заперто кругом. Стучу в первую попавшуюся дверь и слышу голос: – Какого там дьявола леший носит? Клянусь: ангельское пение не усладило бы так мой слух, как эта ругань.

– Семен, отпирай! – гаркнул я в ответ, услышав голос Корсикова.

– Володя, это ты? – как-то сконфуженно ответил мой Корсиков, отпирая дверь.

– Я, брат, я!

Мы вошли в уборную, где в золоченом деревянном кан-

делябре из «Отелло» горел сальный огарок и освещал полбутылки водки, булку и колбасу. Оказалось, что Корсиков в громадном здании театра один-одинешенек. Антрепренер Воронин уехал в деревню, сторожа прогнали за пьянство.

Обменявшись рассказами о наших злоключениях, мы завалились спать. Корсиков в уборной устроил постель из пачек ролей и закрылся кацавейкой, а я завернулся в облака и море, сунул под голову крышку гроба из «Луcreции Борджиа» и уснул сном счастливого человека, достигшего своей цели.

Зажили мы всюю. Андреев устроил меня помощником режиссера, и я, перезнакомившись со всей труппой, благополучно исполнял свою должность.

Славные в ней были люди, среди них имелись и крупные известности, как, например, Н.П. Киреев, его жена «грандам» Е.Н. Николаева-Кривская, актер-поэт Н.С. Стружкин, а нередко заезжали гастролеры из столиц. В числе последних была и служившая в Тамбове инженеру Наталья Агафоновна Лебедева с мужем.

Они ехали в Москву служить в Московский артистический кружок, звали и меня с собой, обещая устроить. Впоследствии это приглашение мне очень пригодилось, а пока я остался в Рязани. Сборы были недурные, труппа хорошая, и все товарищи милые люди, кроме разве антрепренера Воронина, грубого и дерзкого человека. Театр был на имя его жены – пожилой актрисы. Фамилию ее я забыл, но помню,

что она производила впечатление хорошо воспитанной женщины. Звали ее Марией Людвиговной. И как их свела судьба! Он был здоровенный, пузатый и усатый, с курчавыми волосами, с лицом цвета мулата и солдафонскими приемами. Бывший солдат, потом театральный буфетчик и, наконец, антрепренер. Как-то в иллюстрированном издании «Хижина дяди Тома» я видел картинку с надписью: «Замбо и Квимбо». Изображены на ней были два мулата с бичами в руках, и у каждого на сворке по огромному бульдогу.

Морды собак походили на их хозяев, а Воронин походил на обоих этих палачей, терзавших негров.

И обращался Воронин с хористами, статистами и театральными рабочими, как Замбо и Квимбо с неграми, – затрещины сыпались направо и налево, и никто не возражал. Со мной, впрочем, он был очень вежлив, потому что Андреев, отрекомендовав меня, сказал, что я служил в цирке и был учителем гимнастики в полку, а я подтвердил это, умышленно при приветствии пожав ему руку так, что он закричал от боли и, растирая пальцы, сказал:

– Что же это вы кости ломаете!

– Извините, Владимир Павлович, это *я так*, потихонечку.

Крупных артистов он держал в руках благодаря самому зверскому контракту, какой я когда-либо видел. В контракте было шестьдесят шесть пунктов. Целиком списываю с оригинала некоторые. Пункт 36-й: «Артисты обязаны брить усы, бороду и бакенбарды». Пункт 62-й: «Артисты не имеют пра-

ва без письменного разрешения выезжать из города. Отлучаясь из своей квартиры, обязаны оставлять свой адрес, где их можно найти». Пункт 66-й: «Предпринимателю предоставляется право прекратить действие сего договора без ответственности, когда признаки беременности артистки станут заметными». Весь контракт был сплетением юридических ухищрений, отдающих актера в руки антрепренера без всякой ответственности с его стороны.

И Воронин пользовался своей силой, редко натываясь на сопротивление.

Декоратором у него служил сын известного чтеца П.А. Никитина, Адам Павлович Никитин-Фабианский. Человек талантливый, остроумный и озорной. Воронинскую дерзость он долго сносил молчаливо, но в конце концов отомстил жестоко.

Для какой-то пьесы, «Орфея в аду» или «Казни безбожного», задняя декорация изображала ад: кипели грешники в котле, черти подкладывали дрова, в середине восседал на троне сам Вельзевул со своей свитой. На репетиции декорацию осмотрели, все любовались, а Воронин даже поблагодарил художника.

Вечером спектакль. Сбор полный. На бенефис Воронина собралась почти вся администрация во главе с губернатором, седые баки которого выглядывали из губернаторской ложи.

Перед самым началом акта Фабианский с красками и ки-

стью вертелся у занавеса и бросал наскоро штрихи то там, то тут. На него никто не обратил внимания. Наконец зычный голос Воронина: – Васенька, занавес!

Длинный, в люстриновой со сборками поддевке, какую носили старообрядцы, в смазных сапогах, молодой человек, с пробором на середине головы, бесшумно поднял занавес, и под ярким светом рампы загорелась замечательная декорация ада.

Бешеные аплодисменты. Губернатор высунулся из ложи, взглянул и спрятался. Театр гудел.

Публика увидела двух губернаторов: одного в ложе, а другого (с такими же точно баками) заседавшего на декорации на троне Вельзевула... Как живого! Рыжий, с раздвоенной бородой полицмейстер кипит в котле, а огромный курчавый дьяволице, живой портрет Воронина, подкладывает под котел дрова. В следующем котле благообразный городской голова, а вокруг Вельзевула чиновничий и вельможный персонаж города... Кончилось это огромным скандалом. Губернатор приказал арестовать декоратора, но его не нашли, а утром узнали, что он с начала спектакля укатил из города.

Вскоре укатить из города пришлось и мне по его примеру.

Как-то во время спектакля, в последнем антракте, Воронин за кулисами так ударил хориста Клюквина, что у него кровь носом пошла. За это от меня Воронин получил здоровую пощечину. Не успев еще встать с пола, он закричал:

– Позвать пристава!

Запахло протоколом, а при этом и паспорт спросят... вообще скандал!

Я надел пальто и вышел, ни с кем не попрощавшись. Зашел домой – жил я у певчего недалеко от театра, – заплатил три рубля за квартиру, сказал, что еду в Саратов, распрощался дружески и ушел, захватив с собою свое имущество: узелок с переменной белья. Больше ничего не было. Аркашка Счастливец был богаче меня – у него афиши были, а у меня и этого не было: афиши с фамилией Луганского, сыгравшего Добчинского, оставил в режиссерской. Вышел и направился к вокзалу, а навстречу мне длинная знакомая фигура шагает: Василий Иванович Солодов.

– Вася, рад, что встретил тебя... Ну, прощай, я на поезд... Удирать надо!

– С чего это? Из-за Воронина, что ли? Мало его били. В прошлом году Рахимов колотил... В третьем Докучаев измордовал и контракт разорвал...

– За полицией послал!

– Да он сам полиции боится. Ведь приставу за хлопоты дать надо красненькую, а он за рубль удавится. Встал после плюхи, морда распухла – и пошел. Только сказал: «Этого разбойника не пускать в театр, прямо по шее гнать».

* * *

Вася Солодов – сын богатого, но совершенно серого куп-

ца, имевшего, кажется, лесной склад. Ему было тогда около двадцати лет, и он был страстный театрал – с детства бывал всегда в театре. Это был его университет, в который он попал прямо из трехклассного народного училища, где он кончил учение первым. Отец и дед не пустили его учиться дальше, а усадили за конторку на складе, доверив ему и кассу, в которой всегда водились тысячи. Они знали, кому верили: не пьет, не курит, не играет в карты, наряжаться не любит – лучшего кассира не придумаешь. Бывало, спросит у отца пять или десять рублей на театр или книги, ответ всегда один:

– Кассыя у тебя на руках, бери, сколько надеть. Все твое да мое.

Против театра ни отец, ни мать ничего не имели. Чтобы не беспокоил их поздним возвращением, ему в доме отделили квартирку, где он и завел библиотеку.

Театр был действительно его университетом: увидел, например, Вася драму «Борис Годунов» на сцене – сейчас Пушкина купил. После «Гамлета» – Шекспира выписал, после «Разбойников» – Шиллера приобрел и читал, читал.

В складе сидит, а книга в руках. Сначала ходил на галерку, потом до задних рядов партера дошел, а там, заведя дружбу с актерами, за кулисами своим человеком стал. Так и прижился. Перед началом спектакля он рабочим и бутафору помогал, а потом его главной бессменной работой было поднимать занавес, что он делал и ловко и бесшумно. Нуждающимся актерам деньжатами помогал, в случае серьезной

необходимости и довольно крупно, но пьяницам не любил давать, да и не знался с ними. На репетициях бывать ему было некогда: в конторе служба, в спектакле – у занавеса, так что и в буфет он никогда не заглядывал.

Убедившись, что я решил ехать, Вася предложил зайти к нему и в Москву выехать с шестичасовым поездом. В уютных двух комнатах с книжными шкафами была печечка, из которой Вася вынул горшок щей с мясом, а из шкафа пирог с капустой и холодную телятину и поставил маленький самоварчик, который и вскипел, пока мы ужинали. Решили после ужина уснуть, да проговорили до пяти часов утра – спать некогда.

Мне стыдно было, что он знает больше меня пьес; он перевидал много знаменитостей, говорил о них, передавал свои впечатления об игре, рассказывал сюжеты пьес, которые я узнал много времени спустя.

На мой вопрос, почему он поднимает занавес, когда у него есть средства сидеть в партере, он ответил:

– Только не из жадности! Бывать за кулисами стоит не дешевле, а пожалуй, и подороже, а вот люблю я бывать за кулисами... Не потому, что кругом и короли, и царицы, и рыцари, и герои, с которыми запросто разговариваешь. Нет!.. Сперва, действительно, и это меня интересовало... Вдруг Иван Грозный тебе руку подает или Жанна д'Арк в латах и золоченом шлеме, обращается с просьбой: «Васенька, застегните мне пряжку – самой не достать»... Дивно все это – вдруг в

«Казни безбожника» сатана с рогами и хвостом перед выходом на сцену крестится... Нет, просто я привык за кулисами, передружился с актерами, своим человеком стал. В театре я образование получаю – это мой университет.

Уже на вокзале он дал мне двадцать пять рублей, и, когда я отказывался, он просил его не обижать.

– Спасибо. При первой же получке я вам вышлю, Васенька.

Он замахал руками, а потом прибавил:

– Вот в том-то и дело, что это не долг, а просто я прошу вас исполнить мое поручение. Я никому в долг не даю и вынутые из кармана деньги уже не считаю своими, а пускаю их в оборот – гулять по свету. С вами мы квиты. Но я вам их не дарю, конечно. Только вы их должны не мне, а кому-то другому... И я попрошу вас передать их только тогда, когда у вас будут свободные деньги.

– Да кому же, я не понимаю?

– А вот кому! Когда при деньгах вы встретите действительно хорошего человека, отдайте ему эти деньги, или сразу все, или несколькими частями – и, значит, мы квиты. А тех, которым вы дадите деньги, обяжете словом поступить так же, как вы. И пойдет наша четвертная по свету гулять много лет, а может, и разрастется. Ежели когда будет нужда в деньгах – пишите, еще вышлю. Всякое бывает на чужой стороне...

На прощание сказал:

– Сейчас же черкните, как доехали, и адресок, где остановились.

Докучаев

В тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже, была огромная кладовая с двумя широкими низкими окнами над самой землей: одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «старая бутафорская» и годами не отпиралась.

В старые времена, когда еще Григорьев ездил со своей труппой в летние месяцы на ярмарки, там хранилась бутафория и всякая рухлядь, которая путешествовала с актерами. Как-то великим постом Григорий Иванович позвал машиниста Семилетова:

– Вот ключ, отопри кладовку, да сперва протри снаружи левое окно. Там, под ним, в театральном уголке стоит белый китайский сундук... Помнишь? Мы его с собой возьмем в отъезд.

– Знаю, под колесом!

– А вы, – обратился он ко мне и Васе, – помогите ему вытащить сундук. Только не вздумайте огонь зажигать – там все сразу вспыхнет.

Крякнул ключ, завизжала окованная железом дверь, и мы очутились в потемках – только можно было разглядеть два окна: одно полутемное, заросшее паутиной, другое посветлее. И вся эта масса хлама была сплошь покрыта пылью, как одеялом, только слева непонятные контуры какие-то торча-

ли. Около двери, налево, широкая полка, на ней сквозь пыль можно рассмотреть шлемы, короны, латы, конечно бумажные. Над ними висели такие же мечи, сабли, шестоперы.

Это и было начало театрального уголка... В другой половине, где хранились еще от постройки театра строительные материалы – листовое железо и деревянные рамы павильонов, – ничто не остановило внимания под сплошной пеленой пыли.

Вася тихо, стараясь не пылить, пробирался к светлому окну полуошупью.

Вдруг луч солнца ворвался в окно, и поднятая Васей пыль заплясала в широкой золотой полосе, осветившей серые контуры и чуть блеснувшей на кубках и доспехах.

Вася зачихал, выругался... Его звали «чистоплюй»: он по десять раз в день мыл руки, а когда пил водку, то последнюю каплю из рюмки обязательно выливал на ладонь и вытирал чистым платком. В кармане *у него* всегда были кусочки белой бумаги. Он никогда не возьмется за скобку двери иначе, как не обернув ее бумажкой. А тут такая пыль!

Вася так чихнул, что над головой его поднялась облаком пыль и густыми клубами, как бы из трубы, поползла по лучу. А Вася все чихал и ругался:

– Мордой в сатану угодил!

Солнце осветило над ним золотой трон и сидящую фигуру в блестящей короне, над которой торчали золотые рога. Вася продвинулся дальше, – и снова клуб пыли от крутнув-

шего огромнейшего широкого колеса, на котором поднялась и вновь опустилась в полумраке человеческая фигура: солнце до нее не дошло. Зато оно осветило огромного, красного сквозь пыль идола с лучами вокруг головы.

– Вот он и сундук, – слышу из тучи пыли.

– Помочь? – спрашиваю.

– Да он легкий, сейчас выну!

Дернул он из-под колеса, колесо закрутилось, и я увидел привязанную к нему промелькнувшую фигуру человека. Выпрастывая сундук, Вася толкнул идола, и тот во весь свой рост, вдвое выше человеческого, грохнулся. Загрохотало, затрещало ломавшееся дерево, зазвенело где-то внизу под ним разбитое стекло. Солнце скрылось, полоса живого золота исчезла, и в полумраке из тучи пыли выполз Вася, таща за собой сундук, сам мохнатый и серый, как сатана, в которого он ткнулся мордой.

Задыхаясь, ругаясь и продолжая неистово чихать, он выбросил сундук в коридор и запер дверь.

Пока Вася отряхивался, я смахнул пыль с сундука. Он был белый, кожаный, с китайской надписью. Я и Вася, взявшись за медные ручки сундука, совершенно легкого, потащили его по лестнице, причем Вася обернул его ручку бумажкой и держал руку на отлете, чтобы костюмом не коснуться ноши. За стеной, отделявшей от кладовки наши актерские номерки, в испуге неистово лаяла Леберка, потревоженная не слышанным никогда грохотом. Я представил себе, как она лает,

поджав свой «прут», как называют охотники хвост у понтера, шерсть волнистая ирландского сеттера и уши торчком стоят.

За вечерним чаем, как всегда, присутствовали друзья Григорьева: суфлер Ф.Ф. Качевский, А.Д. Казаков и В.Т. Островский.

– Григорий Иванович, что такое страшное колесище там? А в нем будто человек привязан.

– Это вот он привязан. – И Григорий Иванович указал пальцем на Казакова.

– Уж и я? Просто мое чучело, – ответил Казаков точь-в-точь тем же тоном, как он, играя Аркашку, отвечал Несчастливцеву на слова его: «Тебя четыре версты нагайками в Курске гнали». – «Уж и четыре?»

Точь-в-точь тот же самый тон и то же выражение лица.

– Ты расскажи лучше, как тебя колесовали, – не отставал Григорьев.

– Уж и колесовали? Никто меня не колесовал. – И, игнорируя Григорьева, Казаков обратился ко мне, как к человеку новому, и продолжал рассказывать давно известное другим собеседникам: – Играл я дон Педро; тогда еще я крепостным был. На сцене суд инквизиции. Присудили дон Педро колесовать. А вот это самое колесо в глубине сцены стоит, а кругом сбиры, полиция в черных кафтанах; на голове черные колпаки, лица в черных масках. Среди них огромный палач весь в красном. И вот прямо от стола судей – они монахи и тоже в черных масках – повел меня палач к колесу. Сбиры

нас окружили, незаметно от публики меня опустили в люк, а вместо меня приготовили чучело, одетое так же, как и я. Театр был летний, открытый; партер и ложи полны съехавшимися со всей губернии помещиками, кругом театра народищу видимо-невидимо, свои крепостные и соседи мужики. Мать мою и сестер – ведь я первейший придворный актер *у нас* считался – в партер усадили в углу, на скамейке вместе с семьями камердинера и дворецкого. Палач привязал дон Педро и крутнул колесо. «Санька-а-а-а!» – раздался вопль мамы, а за ней вой в народе. В партере и ложах с барынями истерики. В этот момент я уже разгримировался и стал разуваться, как ко мне в уборную вбежал сам Мосолов, схватил меня и в костюме, но без парика, одна нога в сапоге со шпорой, а другая босая, на сцену вытащил. Как только увидели меня, зааплодировали, кто-то крикнул «ура». За ним все – и господа и народ кругом. Все «ура». Рев звериный! Да-с, такого успеха никогда я больше не имел.

– Как называлась эта пьеса? – спрашиваю.

– «Дон Педро, или Испанская инквизиция». Она самодельная. Мосолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине.

– *Я уж жалел, вот бы сборы делала*, – перебил Григорий Иванович. – Лучше бы он пьесу мне прислал, а то десять возов рухляди: колесо и Перуна на отдельных дрогах везли.

– А сатану в кресле? – спрашиваю.

– Нет, сатана доморощенный, мы сами делали для «Казни

безбожника».

– А Перун наш, – поторопился Казаков. – Потом Мосолов ставил «Крещение Руси, или Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали: Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке, да тут у барина с барыней вышла заворошка, она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров. Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал...

Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов: сатана, колесо, рухнувшая громада идола, потонувшая в пыли. Пахло мышами.

А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил:

– Какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун – так мне и кажется, что в окно кто-то лезет... лезет... Запри, кажется, меня на ночь туда – утром найдут бездыханным, как Хому Брута...

И сразу передо мною предстал гоголевский «Вий». Потом, когда уже я оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали: пахнет мышами и тлением. Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности: вспоминались мелочи первого сезона, как живые, выросли товарищи актеры и первым делом Вася.

Вспоминался чай у Григорьева... и красноносый Казаков

с его рассказами, и строгое лицо резонера В.Т. Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария.

– Нет, Милославский был лучше и величественнее. Ведь он был барон Фриденбург... и осанка...

– А как он тебя в «Велизарии» сконфузил? А? Ну-ка, расскажи молодому человеку.

– И горжусь этим...

Мы приготовились слушать, допив последний чай. В.Т. Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара.

– Ну-с, это было еще перед волей, в Курске. Шел «Велизарий». Я играл Евтропия, да в монологе на первом слове и споткнулся. Молчу. Ни в зуб толкнуть. Пауза, неловкость. Суфлер растерялся. А Николай Карлович со своего трона ко мне, тем же своим тоном, будто продолжает свою роль: «Что же ты молчишь, Евтропий? Иль роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет. Сенат и публика уж ждут тебя давно».

Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату:

«Богам во славу, князю в честь!»

Против меня у распахнутой двери стоял стройный, высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его седеющей

курчавой головой. В левой – огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой – большой рогожный кулек.

– Миша! – раздалось встречное приветствие.

– Гриша! Это икорка сальянская!..

Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке.

– Стерлядок вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкового мороза. Поцелуи, объятия.

В это время Вася шепчет мне:

– Это вот тот самый – Докучаев. Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев жалуется: «После докучаевской трепки не жить».

Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон пять раз и была у меня на слуху.

– Могу я об этом его спросить, Вася?

– Не советую. В какой час попадешь!

– Михаил Павлович, позвольте чайку, – спросила хозяйка.

– Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?

– А к чайку ромку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу!

Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами.

– Я ужасно простужен, – чуть не плачет.

– Сейчас вылечу, принесу, – наклонился к кульку и отступился. – Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?

– Да, около того, без малого с лишком... Извини, Гриша, уж сколько было.

Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекларировал:

Убей меня, господь бог, громом,
Не будь лихим я казаком,
Когда испорчу чай я ромом
Или испорчу чаем ром.

И залпом выпил.

Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался:

– Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером, для Орла еду труппу составлять.

На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к В.Т. Островскому, который звал его «дорожку погладить» и приготовил угощение.

Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь:

– Это та самая комната?

– Да, – подтвердил В.Т. Островский.

– Какие подлецы!.. А жаль Гришу... Совсем зря погиб... –

И, задумавшись, молча выпил. – Еще!

Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин.

Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе и этого гусара. И вот, рано утром, на другой день, гусар разбудил спавшего Кулебякина и, только что проснувшегося, еще в постели, уложил пистолетной пулей.

Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь, прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену.

Огромного роста, силы необычайной и «голос, шуму вод подобный». В своих любимых ролях – Прокопия Ляпунова, боярина Басенка, Кузьмы Рощина – он конкурировал с Н.Х. Рыбаковым.

Докучаев набивал «жуковским табаком» трубку на длинном чубуке. Вася молчал. Тут я и решился.

– Михаил Павлович... Кого здесь убили?

– Не знаешь? Ты не знаешь? – Он встал и загремел: – «Его, властителя, героя, полубога...» Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь... «Человек он был». «Орел, не вам чета»... Ты видишь меня? Хорош?.. Подковки гнул. А перед ним я был мальчишка и щенок. Кулачище – во! Вот Сухово-Кобылин всю правду, как было, написал... Только фамилию изменил, а похожа: Ку-ле-бя-кин у него Семипядов. А мою фамилию целиком поставил: «После докучаевской трепки не жить!» После истории в Курске не жить!..

Разошелся, глаза блестят. Голос гремит по комнате.

– А это было под Курском, на Коренной ярмарке... Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы кон-

нозаводчики бывали, ремонтеры... Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были... А мы в то лето с Гришей в Курске служили – поехали прокатиться на ярмарку... Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали – знакомых тьма... Закрутили... Захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером, тоже поиграть к графу идет; взялся нас провести – пускают только знакомых. Большая мазанка в вишневом саду. Человек десять штатских и офицеров понтируют, кто сидит, кто стоит... Пол усыпан картами. На столе груды денег... Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк с усами, помещичьего вида, следит за ставками, рассчитывается, а слева от банкомета боров этакий, еще толще, вроде Собакевича, в мундире. Оказалось после – исправник, тоже помогал рассчитываться. Кулебякин сел за стол и закурил сигару; он не любил карт. Я сразу зарвался, ставлю крупно, а карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера», – шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю. Разгорячился. Опять все карты – крупная была ставка – биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкомета, а другой руку его помощника и поднимает кверху: у каждого по колоде карт в руке, не успели перемениться: «Шулера, колоды меняют»! На момент все замерло, а он схватил одной ру-

кой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить по чем попало... Граф заорал: «Цо?.. Цо?.. Разбой здесь», – и ловит за руку Гришу. Тогда уж *я его* по морде... С ног долой... Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком... Исправник бросился на меня... Я исправника в морду... Стол вверх ногами... Исправник прыгнул к окну и вылезает... Свалка... Графа бьют... Кто деньги с полу собирает... Исправник лезет в окно – высунул голову и плечи и застрял, лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни взад, ни вперед... голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтобы его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали. Весь Малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены и рассказали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.

* * *

Прошло много лет, и в конце прошлого столетия мы опять встретились в Москве. Докучаев гостил у меня несколько дней на даче в Быкове. Ему было около восьмидесяти лет, он еще бодрился, старался петь надтреснутым голосом арии,

читал монологи из пьес и опять повторил как-то за вечерним чаем слышанный мной в Тамбове рассказ о «докучаевской трепке». Но говорил он уже без пафоса, без цитат из пьес. Быть может, там, в Тамбове, воодушевила его комната, где погиб его друг.

Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки и рядом с ним видел другого, возбужденного, могучего, слышал тот незабвенный, огненный монолог. Самое интересное, что я услышал теперь от постаревшего Докучаева, был его отзыв о В.В. Самойлове.

– Это был лучший, единственный Кречинский... Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его легкий польский акцент, я видел в нем живого «графа», когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт... И вот в сцене с Нелькиным, когда Кречинский возвышает голос со словами: «Что? Сатисфакция?» – сцена на ярмарке встала передо мной: та же фигура, тот же голос, тот же презрительный жест... Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты, грим... И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал все, что говорю теперь вам... Он меня обнял, поцеловал и пригласил на другой день к себе обедать, а я запутался и не попал, потом уехал в провинцию и больше не видал его... и не видал больше на сцене ни одного хорошего Кречинского – перед Василием Васильевичем Самойловым каждый из них был мальчишка и щенок.

На другой день в вагоне дачного поезда, уже перед Москвой, я спросил:

– Встречался ли ты, Миша, с Сухово-Кобылиным? Уж очень он метко описал всю сцену.

– Нет, с ним не встречался. А может, он сам видел эту сцену? Наверное, бывал на ярмарке. Картежник он был и лошади. У него в Москве были призовые лошади, сам он участвовал на московских скачках, первые призы выигрывал. А потом под Ярославлем у него имение было. А в Ярославле в то время жил и тот, с кого он Кречинского писал... Шулер Красинский за графа сперва себя выдавал. А вот этого толстяка, с которого он Расплюева писал, из которого Гриша тогда «дров и лучин нащепал», я встретил в Ярославле. Он был и шулер, и соборный певчий, и служил хористом в ярославском театре. Его там Егорка Быстров в шулерстве поймал. Из окна выкинули.

Последние слова он договорил, когда наш дачный поезд остановился у платформы Рязанского вокзала.

– Егорка Быстров сам игрок.

Наконец судьба Докучаева устроилась – и совершенно случайно. На Тверской встречаю как-то Федю Горева и зову его к себе на дачу.

– Не могу, завтра вечером в Питер еду.

– А у меня Докучаев гостит!

– Миша? Михаил Павлович? Да ну? Ведь благодаря ему я теперь и разговариваю с тобой. Кабы не он, и Горева не было

бы, а торговал бы в Сумах Хведор Васильев ситцем.

Я рассказал ему, что старик бедствует.

– Так привози его мне завтра утром, Я живу в «Ливадии». Знаешь? Против «Чернышей». Там писатель Круглов живет, в соседнем номере.

* * *

Обрадовался старик, узнав о Гореве.

– Я его придумал. Мы играли тогда в Сумах. Вхожу в лавку – и обалдел. За прилавком стоит юноша неопикуемой красоты. Фас – Парис, а в профиль – Юлий Цезарь... Представь себе, Юлий Цезарь, вместо боевого меча отмеривающий железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то неотразимо убеждающий ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас контрамарку. Велел за кулисы прийти. На другой день зашел к нему, познакомился с отцом. Красавец старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни, мать местная... славная... Ну, дальше – больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролишек – я ему начитал, вижу – талантище. Увез с собой в Харьков, определил к Дюкову – и вот Горев.

Привез я на другой день старика к Гореву, и больше мы не видались. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил его в приют для престарелых артистов.

Я слышал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют. Рассказывает про старину, поет арии из

опереток и опер, песни, с балалайкой не растается.

Артисты иногда собирались в большой столовой и устраивали концерт – кто во что горазд. Кто на рояле играл, кто пел, кто стихи читал. Расшевеливали и его.

– Ну-ка, Миша, тряхни стариной!

И Докучаев запевал своим высоким, но уже надтреснутым голосом. Дойдя до своей любимой арии Торопки, на высокой ноте обязательно петуха запускал и замолкал сконфуженно.

Тут обычно кто-нибудь ему кричал:

– Топорище!

И он вновь оживлялся – тряхнув балалайкой, топнув ногой, начинал звонко, с приплясом, выводить:

А и кости болят,
Все суставы говорят...

Пел и подплясывал... А когда заканчивал, раздавались аплодисменты. Но дамы делали вид, что не понимают, и только старуха Мурковская, бывшая гран-дама лаская неразлучную с ней Моську, недовольно ворчала:

– И все врет, и все врет. Хвастунишка!

Придя в общежитие откуда-то навеселе, Миша появился в столовой с балалайкой и сразу запел:

Близко города Славянска...

И как всегда, на верхней ноте голос оборвался, и по обыкновению кто-то крикнул:

– Топорище!

И он опять-таки, как всегда, лихо закончил последний куплет под аплодисменты и... грохнулся на пол. Старое сердце не выдержало молодого порыва.

Друзья

В старые времена не поступали в театр, а попадали, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда – там и оставался. Жизнь увлекательная, работа вольная, простота и перспектива яркого будущего, заманчивая и достижимая.

Здесь «великие» закулисного мира смотрят на мелкоту, как на младших товарищей по сцене, потому что и те и другие – люди театра. Ни безденежье, ни нужда, ни хождение пешком из города в город не затуманивали убежденного сознания людей театра, что они люди особенные. И смотрели они с высоты своего призрачного величия на сытых обывателей, как на людей ниже себя.

– Горд я, Аркашка, – говорил Несчастливцев, шагая пешком из Керчи в Вологду, встретив Счастливого, шагавшего из Вологды в Керчь...

И пошли вместе старые друзья, с которыми я служил на одной сцене. Именно с них, с трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова и комика Александра Дмитриевича Казакова, писал Островский героев своего «Леса».

– Для актера трактир есть вещь первая, – говорил Аркашка.

Я имел незабвенное удовольствие не раз сидеть с ними за одним столом в актерском трактире «Щерб аки».

Владимирка – большая дорога. По избитым колеям, окруженная конвоем, серединой дороги гремит кандалами партия арестантов. Солнце жарит... Ветер поднимает пыль. Путь дальний – из Московской пересыльной тюрьмы в Нерчинскую каторгу.

По обочине, под тенью берез, идут с палками и тощими котомками за плечами два человека. Один – огромный, в каком-то рваном плаще, ловко перекинутом через плечо, в порыжелой шляпе, с завернутым углом широких полей. Другой – маленький, тощий, в женской кофте, из-под которой бахромятся брюки над рыжими ботинками с любопытствующим пальцем.

Большой широко шагает с деловым видом, стараясь не обращать на себя внимания встречных. Другому не до встречных: он торопится догнать спутника. Рыжая бороденка мочалкой, мокрая и серая от пыли и пота, текущего струйками по лицу.

Но все-таки их заметили. Молодой парень первой шеренги, улыбаясь безусым губастым ртом, гремит наручниками, тыча в бок скованного с ним соседа, тоже, как и он, с обритой наполовину головой:

– Глянь-ка, актеры! Гы... гы!

– Не смейся, щенок! Может, сам хуже будешь?!

Да ведь это было. Было. Николай Хрисанфович в семидесятих годах в «Щербаках» в дружеской компании рассказывал этот анекдот.

– Мы шли вот с Сашкой Казаковым из Владимира в Москву, меня вызвали в Малый, дебютировать в «Гамлете». Помнишь, Сашка? Ты тогда от своего барина бежал и слонялся со мной. Сколько я тебя выручал!

– Да-с, Николай Хрисанфыч. Ежели бы не вы, запорол бы меня барин.

– А как я тогда играл Гамлета! Это было в 1851 году. Как играл!

– А потом, когда вас приняли в Малый, вы плюнули и сказали: «Не хочу быть чиновником!» – И мы ушли... В Воронеж ушли... А там вы меня выкупили у барина.

Это подтверждение Казакова было нужно, потому что Рыбаков любил приврать. Казакова тогда уже знали как известного провинциального комика, скромного и правдивого человека, и уважали его. Все знали и его прошлое, хотя он усиленно старался скрыть его.

Помещик Мосолов держал у себя в тамбовском имении театр, и Сашка Казаков, один из лучших актеров его крепостной труппы, крепко провинился перед бариним тем, что сошелся с барской любовницей, крепостной актрисой. Барин выпорол его и пообещал запороть до смерти, если он еще позволит себе ухаживать. Грех случился. Барину донесли. Актрису он сослал в скотницы, а Казакова приказал отвести

на конюшню пороть. Он вырвался, убежал, попал в труппу Григорьева, а потом уж Рыбаков оттуда увез его в Москву, выкупил на волю и много лет возил с собой.

О знаменитом Н.Х. Рыбакове, друге А.Н. Островского, остались только одни анекдоты, и ничего больше. Когда-то я записывал рассказы старых актеров и собирал их.

В первые годы моей литературной работы журналы и газеты очень дорожили этим материалом, который охотно разрешался цензурой. Газета, печатавшая их, даже завела отдел для этого материала под рубрикой «Записки театральной крысы».

Вот что сохранилось в моей памяти о знаменитом Н.Х. Рыбакове.

Двадцать лет Рыбаков сердился на Москву. Двадцать лет он приезжал постом то в знаменитый «Белый зал», то в неизменные актерские «Щербаки», и двадцать лет упорно не хотел выступать на московских сценах, даже несмотря на просьбу своего друга А.Н. Островского.

И было на что рассердиться: в 1851 году Н.Х. Рыбаков удачно дебютировал в «Гамлете» и «Уголино» на сцене Малого театра. Канцелярская переписка о приеме в штат затянулась на годы. Когда наконец последовало разрешение о принятии его на сцену, то Н.Х. Рыбаков махнул рукой: «Провались они, чиновники!»

И снова загремел по провинции.

В начале семидесятых годов в Москве, на Варварской

площади, вырос Народный театр. Драматург Чаев, помнивший дебют Н.Х. Рыбакова в Малом театре, порекомендовал режиссеру А.Ф. Федотову пригласить Н.Х. Рыбакова в его труппу.

– Орало! Оралы нынче не в моде!

Эта фраза Федотова потом была увековечена А.Н. Островским.

– Да вы посмотрите, Александр Филиппович, сколько правды в нем, как он талантлив!

Н.Х. Рыбаков был приглашен на перспективную плату в двадцать пять рублей.

Народный театр открылся «Ревизором», и Н.Х. Рыбаков сыграл Землянику. Да так сыграл, что на каждую его реплику публика отвечала:

– Рыбаков, браво!

А на другой день в «Московских ведомостях» у Каткова появилась статья об открытии театра и отдельная о Н.Х. Рыбакове, заканчивающаяся словами: «Честь и слава Рыбакову!»

И сразу вырос в Москве Н.Х. Рыбаков во весь свой огромный рост.

Следующей пьесой шла «Бедность не порок». Любима Торцова играл лучший из Любимов Торцовых – артист Берг, а Гордея – Рыбаков.

В третьем акте, когда Гордей говорит: «Да что ж, я зверь, что ли?» – публика забыла всех исполнителей и закатила

несмолкаемую овацию Рыбакову.

В тот же вечер Берг отказался играть Любима, если Гордея будет играть Рыбаков.

С этого дня Берг и Рыбаков стали чередоваться в спектаклях «Бедность не порок».

Перешел Народный театр к князю Урусову и Танееву. Рыбаков занял в театре первое место. А.Н. Островский создал «с него» и для него «Лес». Николай Хрисанфович поставил в свой бенефис «Лес», где изображал самого себя в Несчастливцеве. Аркашку играл знаменитый Н.П. Киреев, чудный актер и талантливый писатель, переводчик Сарду.

Театр полон... Встреча – сплошная овация. Наконец слова Несчастливцева:

«Последний раз в Лебедяни играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел...»

Взрыв аплодисментов. Это был триумф невиданный. Но об этом забылось, а ходили только анекдоты о нем.

Богатырь, огромного роста, силы необычайной, но добрый и тихий, как ягненок.

И при славе первого светила всегда был отзывчивый к «мелкоте». Шли к нему полуголодные «Аркашки», и отказа не было никому.

В Тамбове Николай Хрисанфович играл боярина Басенка в драме Н. Кукольника «Боярин Ф.В. Басенок». В одной из сцен Басенок схватывает шестопер и, размахивая им, читает свой бешеный монолог, от которого у публики мозги стынут:

«Бык с бойни сорвался, тигр вырвался из клетки».

Мечется по сцене, угрожая палицей. Реквизитор, не позабоясь сделать палицу, принес из мастерской двухпудовый молот. С этим молотом провел всю сцену Рыбаков, а потом только выругал изящного и худенького режиссера Песоцкого:

– Тебе бы, дураку, такой молот дать!.. Посмотрел бы я!

Бывали с этим колоссом и такие случаи: в семидесятых годах, во время самарского голода, был в Москве, в Немчиновке, поставлен спектакль в пользу голодающих. Шло «Не в свои сани не садись». Русакова играл Николай Хрисанфович, а остальных изображал цвет московских любителей: В.А. Морозова (Дуню), П.А. Очкина, С.А. Кунин, Дм. Н. Попов и другие.

После утренней репетиции, в день спектакля, на товарищеском завтраке Николай Хрисанфович выпил «лишние полведра» и загулял.

Его отвезли домой. Жил он на Тверской, в доме графа Олсуфьева, в актерских мебелирашках – «Чернышах».

Но оставаться дома Николай Хрисанфович не пожелал и собрался в трактир к Тестову. Несмотря ни на какие просьбы окружающих, надел шубу, шапку, калоши и вышел в коридор. Его стали останавливать Друзья.

– Прочь! – загремело по коридору, и все отхлынуло от «боярина Басенка».

На крик выбежала маленькая, кругленькая содержатель-

ница номеров Калинина и с визгом набросилась на Рыбакова:

– Ты что же это, безобразник? Чего орешь?.. Пошел назад! Ну, поворачивайся! – И впихнула растерявшегося гиганта в номер. – Шубу долой! Снял? Сапоги снимай!

Послушно разулся Николай Хрисанфович, а хозяйка взяла сапоги и вышла из номера. Все молчали и ждали грозы.

– Нет, какова? – добродушно рассмеялся Рыбаков и уснул до спектакля.

* * *

В числе московских друзей Николая Хрисанфовича был тогда юный Миша Садовский, сын его старого друга Прова Садовского. Все трое были друзья А.Н. Островского.

Миша родился уже в Москве. Сын Прова вырос в кругу талантов и знаменитостей; у его отца собиралось все лучшее из артистического и литературного мира, что только было в Москве: А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Ф. Писемский, А.А. Потехин, Н.С. Тихонравов, Аполлон Григорьев, Л. Мей, Н.А. Чаев и другие. Многие из них впоследствии стали друзьями Михаила Провыча.

И в этой среде из юноши-актера выработался талантливый писатель и переводчик.

В начале девяностых годов в Москве издавался Ф.А. Куманиным журнал «Артист», который очень любил Михаил

Провыч.

Как-то зимой Михаил Провыч принес в редакцию «Артиста» свою рукопись, и собравшийся кружок сотрудников просил его прочесть что-нибудь из нее. Михаил Провыч прочел несколько отдельных сцен, которые то захватывали душу, то вызывали гомерический хохот.

– Вот так-то и Александр Николаевич Островский хохотал, когда я ему рассказывал эту быль, конечно, разукрашенную... Благодаря ему и рассказ этот «Дикий человек» я написал – это он потребовал.

Тогда Ф.А. Куманин и упросил Михаила Провыча упомянуть об этом в примечании к рассказу.

Примечание к рассказу было такое: «В конце семидесятых годов, в один из моих приездов к А.Н. Островскому в Щельково, мы по обыкновению сидели с ним около мельницы с удочками; рыба не клевала; Александр Николаевич был скучен. Желая его развлечь, я принялся болтать всякий вздор и как-то незаметно перешел к рассказу о том, как некий бедный человек от нужды поступил в дикие. Пока я фантазировал на все лады, Александр Николаевич не спускал с меня глаз, и, когда я кончил фантастическое повествование, он взял с меня слово непременно написать этот рассказ. Несколько раз я пытался исполнить его желание, но все не удавалось. Теперь, написав его, я счел обязанностью посвятить мой первый беллетристический опыт памяти знаменитого драматурга и моего дорогого учителя».

После напечатания этого рассказа Общество любителей российской словесности почтило Михаила Провыча избранием его в свои действительные члены.

Всегда веселый, Михаил Провыч отмечал все интересное эпиграммами и экспромтами. Так, когда появился нелепый морозовокий «замок» на Воздвиженке, он сказал:

Сей замок на меня наводит много дум.
И прошлого мне стало страшно жалко.
Где прежде царствовал свободный русский ум.
Там ныне царствует фабричная смекалка.

Когда управляющим театрами назначили вместо пехотного офицера Пчельникова кавалериста Теляковского, Михаил Провыч пустил следующее четверостишие:

Управляла когда-то пехота
Образцовым искусства рассадником.
А теперь управленья забота
Перешла почему-то ко всадникам...

Войдя как-то на репетицию в Малый театр, Михаил Провыч услышал жестокий запах нафталина и тут же сказал:

Не житье нам, а малина.
Этот запах нафталина
Убеждает всех, что Боль
Выводил в театре моль.

Остроумны были многочисленные басни Михаила Провыча, писавшиеся им нередко на злобу дня и ходившие по рукам с его любимой подписью: «Хемницер II».

Он владел пятью языками, в том числе испанским, и переводил пьесы без словаря.

Коренной москвич, он всей душой любил Москву, любил Россию и никогда не бывал за границей. Когда его приглашали за границу, он всегда отказывался и говорил:

– Я лучше поеду на Оку, на Волгу стерлядей да икру есть.

Чистый, самобытный москвич, он для шутки иногда любил сказать по-старомосковски:

– Я намедни его встретил у Трухмальных ворот. – И говорил это так, как будто иначе и нельзя сказать.

Сыну Михаила Провыча, тоже артисту Малого театра, Прову Михайловичу, я как-то, вспоминая отца и деда, сказал:

Пров велик и славен был.

Был велик и Михаил.

Слава их сверкает снова

Нам в таланте ярком Прова.

Бурлаки

Рассветало, когда мы с Андреевым-Бурлаком вышли от А.А. Бренко. Народу на улицах было много. Несли освященные куличи и пасхи. По Тверской шел народ из Кремля. Ни одного извозчика, ни одного экипажа: шли и по тротуарам и посреди улиц. Квартира Бурлака находилась при театре в нижнем этаже, вход в нее был со двора.

Три хорошо обставленные комнаты, кабинет с кроватью, письменным столом и книжным шкафом, столовая с кожаной мебелью, большая комната с буфетом и двумя турецкими диванами и обширная прихожая, где за загородкой помещался его слуга Федор, старик, бывший камердинер его дяди.

Федор уже позаботился накрыть на стол: кулич и баба из булочной Филиппова, пасха, блюдо крашенных яиц и разные закуски. Федор не спал, он вернулся от заутрени и поддерживал огонь в кипевшем самоваре. Расцеловались со стариком.

– Вот, Федя, мой друг Владимир Алексеевич, будет жить у нас. Нравится? Ну, вот завтра и переезжай!

– Да я уж переехал. А чемодан завтра принесу!

Мы пили чай, второй раз разговелись, чтобы поддержать компанию для старика, изображавшего хозяина дома.

На другой день я принес свой чемодан из соседних номеров Голяшкина, излюбленных актерами. Федор вынул чер-

ную пару и белую полотняную и повесил в гардероб.

Увидел как-то Бурлак мои белые штаны:

– Пожалуй, они мне впору будут. Дай-ка померяю... Хорошо, что увидел, а то бы никогда не собрался... Федя, давай мерить.

Оказались впору.

– Широковаты немного, да это еще лучше! Бурлак вышел в свой кабинет, а я разговаривал с Федей, который брился у окна в своей комнате. Он брился ежедневно, чисто, оставляя только маленькие бачки, разрезанные пополам белым полумесяцем, что очень шло к его строгому, еще свежему лицу с большим лбом, с напозвшим мысом густых, коротко остриженных седых волос. Сухой, стройный, он красиво донашивал старые костюмы Бурлака, как будто они были на него сшиты.

– Матушка, пожалей о своем бедном дитятке! – вдруг раздался вопль сзади меня.

Я вскочил и ошалел. В двери кабинета стоял весь в белом человек, подняв руки кверху. Из-за его ладони мне не видно было лица.

– Ну вот, Володя... Сейчас поедем к Конарскому сниматься. Давно собирался, да все штанов не было!..

Мы поехали в Газетный переулок, к фотографу Конарскому. Там Бурлак переоделся, загримировался и снялся в десяти позах в «Записках сумасшедшего». Жутко было смотреть.

Бурлак подарил мне с разными надписями эту коллекцию

кабинетных портретов, которые пропали во время моей бродяжной жизни.

Помню одну карточку, на обороте ее было написано: «Спасибо за твои штаны, получи их изображение, а штанов не отдам – в них всегда читать буду».

* * *

Зажили мы у Бурлака втроем по-хорошему, впрочем не надолго. Как-то мы пришли от А.А. Бренко рано и стали раздеваться. Вдруг звонок. Федя с кем-то говорит, спорит, и в столовую вваливается седой бородатый мужчина в поддевке и широкополой шляпе.

– Вася, что же это меня не пускают?

– Александр Иванович! Раздевайся, умывайся и входи. А ты, Федя, закусить накрой... да самоварчик...

Это мой старый приятель... Александр Иванович Якушкин. Брат того народника, Павла Якушкина, которого Некрасов упоминает в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо»...
Помнишь:

Павлуша Веретенников
С гармоникой в руке...

Этот тоже народник, точь-в-точь брат. Я с ним познакомился в Туле года три назад, когда его вернули из Сибири.

Живет в имении у родственницы, под Тулой, близ Черни. Я был *у него там* в гостях... Помню только имя этой старой дамы – Елизавета Мардарьевна.

Все это Василий Николаевич рассказал мне, пока гость сопел, фыркал и плескался, умываясь в прихожей.

* * *

Часа два просидели и проболтали. Оказалось, что Бурлак его вызвал письмом. Он рассказал о нем А.А. Бренко, а та предложила выписать старика: дадим ему место контролера.

В Сибири в ссылке Якушкин пробыл шестнадцать лет, а потом старика вернули в свою губернию, без права въезда в столицы. Это смущало его.

– В Москве-то меня не схапаят?

– Ничего. Это уладим. Только, конечно, оденем тебя по-европейски.

Как-то Бурлак рассказал случай, за который в молодости был выслан из Москвы Павел Якушкин.

Попал Якушкин с кем-то из московских друзей на оперу «Жизнь за царя» в Большой театр. Билеты у них были в первом ряду. Якушкин был в козловых сапогах, в красной рубахе и щегольской синей поддевке.

Публика первых рядов косилась на него, но он сидел рядом со своим другом, весьма уважаемым известным профессором. Все бы шло хорошо, но в антракте они ходили в бу-

фет и прикладывались. Наконец запели на сцене:

После битвы молодецкой Получили мы царя...

Якушкин встал и, грозя кулаком на сцену, гаркнул на весь театр:

– Говорил вам, что драка до добра никогда не доведет...

* * *

Летом труппа А.А. Бренко играла в Петровском казенном театре. Огромное, несуразное здание с большой прекрасной сценой. Кругом обширный сад, огороженный глухим забором. В саду буфет и эстрада для оркестра военной музыки. Репертуар и труппа, как зимние.

Играли шесть дней в неделю; по субботам и накануне больших праздников спектакли не разрешались.

По субботам у А.А. Бренко, на ее даче около Соломенной сторожки, бывали многолюдные обеды, на которых присутствовали московские знаменитости, а в обыкновенные дни тоже садилось за стол человек пятнадцать своих, в том числе Якушкин, уже в черном пиджаке, и Васильев.

Они сразу сошлись: столько у них оказалось общих знакомых; кроме того, оба были народники. Иногда обедали и нелегальные из Петровской академии, никогда не являвшиеся на многолюдные субботние обеды.

Эти семейные обеды были особенно веселы: интересные люди, и все свои.

...На свободное слово
Никто самовластно цепей не ковал...

Здесь Вася читал стихотворения Огарева и Рылеева. Бурлак смешил компанию рассказами о своей знаменитой губе, о которой поэт Минаев напечатал в левой газете тех дней, «Московском телеграфе», такой экспромт:

Москва славна Тверскою.
Фискалом М.Н.К.¹
И нижнею губою
Актера Бурлака.

Действительно, губа у Бурлака была особенная. На его красивом лице, освещенном прекрасными голубыми глазами, она, огромная и толстая, была, казалось, совсем некстати, но она умела выражать малейшее настроение ее обладателя; губа то смеялась, то сердилась, то плакала. Она плакала в «Записках сумасшедшего», она смеялась в «Аркашке», она сердилась в «Городничем», когда он цыкал злым шепотом на Держиморду, а в его рассказах она подчеркивала все слова, придавая им силу. Когда Бурлак молчал и слушал чей-нибудь разговор, я смотрел на губу и знал, что он думает. Когда надо было сдерживаться, его глаза ничего не выражали, лицо каменное, а губа говорит.

¹ М.Н. Катков.

Мы познакомились с Бурлаком в 1877 году и сразу подружились, вместе служили в саратовском летнем театре, а потом уж окончательно сошлись у А.А. Бренко, несмотря на то, что он был актер, окруженный славой, а я – актер на маленькие роли.

Бурлаку я обязан тем, что он ввел меня в литературу и изменил путь моей жизни дружеским приглашением служить у Бренко. Отсюда все и пошло.

Не встретить я с Бурлаком в Кремле на пасхальной заутрени, служил бы я где-нибудь в уездных городишках на провинциальных сценах и в лучшем случае сделался бы сторублевым актером и ходил бы по шпалам. Ни о какой литературе и речи бы не было.

Мы оба бурлаки волжские. Я настоящий бурлак, лямочник, но во время службы в театре об этом никто, кроме него, не знал; только ему я открылся. Время было не то: после «первого марта», когда мы служили, и заикаться об этом было рискованно. А он носил громкую фамилию «Бурлак» открыто и прославил это красивое, могучее слово.

Именитые миллионеры считали за счастье пожать руку Бурлаку, да не очень-то он жаловал их.

У него вышла имевшая большой успех книжка «По Волге», полная бытовых сцен, жизненных и ярких. Он их читал на вечерах с огромным успехом.

В «Русской мысли» нашумел напечатанный в 1881 году рассказ «За отца». Рассказ проскочил сквозь цензуру без-

наказанно только случайно: в нем описывалась не то Шлиссельбургская, не то Петропавловская крепость, где на стене крепости часовой узнает в бегущем арестанте своего отца.

Как я был счастлив получить от него переплетенную в красный сафьян книжку «По Волге» с надписью: «Моему другу и однокашнику-волгарю, бурлаку настоящему, Володе Гиляровскому от актера Бурлака».

Это он меня второй раз бурлаком назвал. В первый раз я услышал от него это слово в 1883 году великим постом. Я тогда уже работал в газетах и жил в гостинице «Англия» на Тверской, рядом с Английским клубом. Накануне в трактире Саврасенкова я встретил в бильярдной письмоводителя из 2-го Арбатского участка, страстного игрока, с которым я не раз игрывал на бильярде. Ко мне он питал особое уважение потому, что я печатаюсь, а он преклонялся перед литераторами. Отвел он меня в дальний угол, мы заняли столик. Подали пиво.

– Я уж собрался к вам зайти, Владимир Алексеевич. Скажу вам неприятность, но под величайшим секретом. Если возможно, поскорее уезжайте из Москвы куда-нибудь. Да. В участке получена из охранного отделения секретная бумага о высылке из Москвы на время коронации неблагонадежных людей, и в числе их стоит и ваша фамилия. Вы живете в номерах «Англия»? Там указано это.

– За что же?

– Охранка что-нибудь пронюхала, может, встречали вас в

компании поднадзорных, может, за то, что на нелегальных студенческих вечеринках читаете неподобающее... Черт их знает, за что, а вышлют. Перед высылкой, может быть, обыск будет. Уезжайте, никому ничего не говорите, когда и куда едете.

* * *

Проснулся я на следующий день в отвратительном настроении: куда ехать и на что? Денег никаких. Придется месяца три где-нибудь прожить, а в кармане трешница, и продать нечего. Перебираю бумаги, уничтожаю кое-какую нелегальщину. Вдруг стук в дверь. Я вздрогнул, оглянулся – и ожил.

– Ну вот, рад, что застал!

И глаза, и губы, и все лицо смеются. Вместо ожидаемого жандарма или шпика ко мне прихромал Василий Николаевич, никак уже не жданный.

– Я к тебе! Лето у тебя свободное? Хочешь на Волгу?.. Только не думай, не запрягу в лямку старого бурлака, а на пароходе в первом классе, да не вверх, как ты в лямке шел, а вниз побежим.

Что уж со мной было – сам не знаю. Но первым делом я рассказал во всех подробностях мой вчерашний разговор о высылке.

– Вот спасибо охранке, а то, пожалуй, не уговорил бы уехать. Значит, конечно, теперь на одном пароходе два бур-

лака побегут. Вниз по матушке по Волге... А пока вот тебе сто рублей на расходы, и сегодня же вечером привози чемодан ко мне. Федя как рад тебе будет!

Оказывается, Бурлак составил товарищество артистов для поездки по Волге. Труппа была собрана, репертуар составлен, маршрут выработан – объехать все поволжские города, начиная с Ярославля до Астрахани включительно.

– А вот тебе и список актеров.

Читаю и поражаюсь: Писарев, Глама-Мещерская, Свободина-Барышева...

– Одна? С Далматовым разошлась? Одна едет? Читаю дальше: Очкина, Рютчи с женой, Шмитова-Козловская, Булычевцева, Скалой, Вася Васильев, конечно, привесок к Писареву. Читаю: Корнев – суфлер, Гиляровский – актер и распорядитель по административной части, Бурлак – главный режиссер и распорядитель по ведению всего дела.

Кроме провинциального актера Илькова, все артисты принадлежали к составу Русского драматического театра, выросшего на развалинах театра Бренко. Театр этот находился в Камергерском переулке, в том же доме, где теперь Московский Художественный театр.

– Роли уж распределены и розданы. Ты, кроме того, будешь передовым. Твоя обязанность выезжать раньше, снять театр и приготовить все к спектаклю: напечатать афиши, познакомиться с газетами.

– Сделано!

– Еще не составив труппы, я уж тебя наметил: Бурлак и выбрал бурлака на Волгу.

Вечером я переехал к Бурлаку и старался никуда не выходить, чтобы не угодить в охранку. Да и некогда было гулять: масса подготовительной работы, и, кроме того, я нузубок учил данные мне роли.

Двадцатого апреля я выехал передовым в Ярославль, чтобы приготовить там театр, но там и готовить нечего было, нужно было только нанять номера. Театр держал толстяк-украинец Любимов-Деркач, матерый антрепренер, известный картежник. И ничем нельзя было больше обидеть его, как изменив одну только букву фамилии, назвать не Деркач, а Дергач. Слишком ясный намек и, как говорили, не безосновательный, хотя и Деркач – словечко не из красивых: истертый веник.

Прекрасный ярославский театр. Почти рядом с гостиницей «Столбы», из которой, говорят, в окно Расплюева выкинули.

Через три дня утром я встретил всю труппу на вокзале, а в воскресенье, при полном сборе, с громадным успехом прошел первый спектакль.

Последний спектакль, в котором я принимал участие, был «Лес». Я играл Петра и угощал изящнейшую Гламу-Мещерскую подсолнухами, вынимая их из кармана своей поддевки, и та с удовольствием их щелкала, а Бурлак потом сказал мне при всех:

– Ну и кренделек ты с семечками придумал. А ловко вышло!

Сыграв Петра, утром в девять часов я отправился на пароходе в Кострому, взглянул на пески левого берега Волги, где шагал впервые в лямке, на гору правого берега, на белильный завод.

В Костроме через три дня, все приготовив, встретил я на пристани труппу. В Костроме Аксюшу играла Мария Ивановна Свободина, с которой я не видался с Пензы, и мы, старые друзья, очень обрадовались друг другу.

Я ее тоже угощал семечками, а затем вся труппа от Ярославля до Астрахани запойно грызла их.

Результаты поездки по Волге были блестящи и в смысле успеха, и в смысле заработка актеров.

Среди всех наших светил самый большой успех имел Бурлак: помимо таланта, волгари встречали своего волгаря и как задушевного, доброго, компанейского человека.

Про него ходила масса анекдотов, популярность его была громадна. Он любил весело выпить, лихо гульнуть, посмеяться, пошутить, но так, чтобы никому его шутки обидны не были. И все же во время поездки по Волге он жестоко обидел актера Илькова. Прекрасный исполнитель характерных ролей, человек со средствами, совершенно одинокий, Ильков был скуп до крайности.

В Самаре он остановился из экономии вместе с Васей Васильевым, который был тоже скуповат. Все расходы по но-

меру они платили пополам, и даже чай пили пополам – один день Вася заваривал свой чай, а другой Ильков свой, причем каждый имел свой сахар.

Как-то Бурлак и я отправились к Илькову по неотложному репертуарному делу, но не застали его дома. Вася предложил нам чай и налил по стакану. Я взял стоявшую на столе зеленую стеклянную сахарницу, хотел ее открыть, но Вася схватил меня за руку и закричал с испуганным видом:

– Не тронь, это сахар Илькова! Вот мой, клади его, вот этот.

– Да не все ли равно – твой сахар или Илькова?

– Да что ты! Там у него муха сидит.

Из дальнейшего рассказа Васи выяснилось, что Ильков, подозревая номерную прислугу в краже кусочного сахара, каждый раз, напившись чаю, ловил муху, сажал ее в сахарницу и закрывал крышкой.

У Бурлака губа удивленно оттопырилась, а потом он бешено расхохотался.

– Как откроет и мухи нет, значит, он и знает, что сахар воровали, – продолжал Вася.

Бурлак молча встал и начал ловить мух на окнах и на столе.

– Вот я ему удружу, доставлю удовольствие. Изловив мух, Бурлак поодиночке сажал их в сахарницу и аккуратненько закрывал крышку.

Конечно, я помогал ему в этой затее, и даже Вася одну

поймал:

– Пятнадцатая.

Вернувшись в театр, мы рассказали о проделке всей труппе. Вечером шел «Лес». Ильков, игравший Милонова, был очень сконфужен, потому что Вася рассказал ему за вечерним чаем о нашей шутке. Но никто не подавал виду, что знает о мухах. Ильков успокоился, но перед самым выходом Глама спросила его:

– Ильков, правда, что вы чай пьете с мухами?

Ильков не успел рта разинуть, как помощник режиссера вытолкнул его на сцену. Старый, опытный актер так сконфузился, что забыл свои слова и спутал сцену.

На другой день он переехал в отдельный номер, рассердившись на Васю, а Бурлаку пришлось из своего кармана приплачивать ту половину за номер, которую платил Ильков.

* * *

Бурлак был настоящий волгарь, он родился и вырос на Волге и скончался в 1888 году в Казани, куда приехал совершенно больным из своих бесчисленных скитаний по России.

Великолепный актер, блестящий рассказчик, талантливый писатель, добрый, жизнерадостный человек, он оставил яркий след в истории русского театра, перенеся на сцену произведения наших великих писателей, и не мечтавших, когда они писали, что мысли и слова их, иллюстрируемые

живым человеком, предстанут на сцене перед публикой.

Бурлак первым стал читать в костюме и гриме «Записки сумасшедшего», рассказ Мармеладова, рассказ капитана Копейкина. Он основал Товарищество драматических артистов, которое в 1883 году объехало поволжские города с небывалым успехом, познакомило глухую провинцию с московскими знаменитостями.

Импровизатор и рассказчик Бурлак был неподражаемый. Все совершалось им легко, как бы между прочим, в вихре жизни, в безалаберных порывах, окутанное сетью анекдотов, скрывающих глубину замысла и серьезность исполнения.

Василий Николаевич Андреев, сын небогатого помещика, симбирский дворянин, родился и вырос в имении отца на Волге и юношей поступил на буксирный пароход помощником капитана, а потом сам командовал пароходом.

О своем первом «театральном» выступлении он нам рассказывал следующее:

– Как-то из Нижнего – еще помощником капитана был – вез я с ярмарки купцов. Конечно, пили в дороге зло. Один из купцов, самарский миллионер, мужчина здоровеннейший, начал бить в каюте посуду и буяннить так, что ко мне прибежали собутыльники с просьбой утихомирить «его степенство». Спускаюсь с мостика, заглядываю в каюту: народу человек восемь, все боятся, а купчина лупит бутылкой по тарелкам и неистово орет. Остальные тоже пьяные, но присмireли. Я отворил сразу дверь да как крикну, глядя на

него: «Пожар! Спасайся, кто может!» Буян первый выско-
чил, да споткнулся, растянулся на полу и встать не может.
Его без чувств подняли и отнесли в каюту. На другой день,
уже трезвый, входит купчина на мостик, хлопает по плечу,
смотрит мне пристально в глаза и совершенно серьезно гово-
рит: «Знаешь что? Брось ты это свое капитанство и поступай
в актеры, большие деньги получать будешь. Как ты гаркнул
вчера, когда я увидел твою испуганную рожу, не помня себя,
бросился спасаться, а потом уж ничего не помню!» Позднее,
уже зимой, как-то в клубе в Симбирске, я в своем кружке
рассказывал этот случай, а с нами был Александр Андреевич
Рассказов. Он ставил дивертисмент на клубной сцене и уго-
ворил меня выйти на сцену и повторить рассказ.

Успех был громадный, и впоследствии Бурлак стал по зи-
мам выступать в дивертисментах как рассказчик, сперва лю-
бителем, а потом попал он в Саратов в труппу Костромского.
Так, шутя, начал свою блестящую карьеру Василий Николае-
вич Андреев-Бурлак.

Яркая жизнь

Из всех театральных знаменитостей моей юности дольше других оставалась в живых А.А. Бренко. На моих глазах полвека сверкала ее жизнь в непрерывной борьбе, без минуты покоя. Это был путь яркой кометы, то ослепительной в зените, то исчезающей, то снова выплывавшей между облаками и снова сверкавшей в прорывах грозových туч.

В последний раз она особенно ярко сверкнула в 1924 году и затем стала угасать.

Я видел ее полвека назад в зените славы, видел ее потухающей и отгоревшей. Газеты и журналы 1924 года были полны описанием ее юбилея. Вся ее деятельность отмечена печатью, но меня, связанного с ней полувековой, ничем не омраченной дружбой, неудержимо тянет показать кусочки ее творческой жизни.

Отметить юбилей А.А. Бренко собрались ее ученики, делегаты от рабочих организаций, члены драмкружка Пречистенских рабочих курсов. В переполненных ложах красные платочки, рабочая молодежь и красноармейцы.

Она, старушка, в ореоле седых волос, с еще свежим, добродушным лицом, сидит в кресле на сцене, принимает приветствия. Всерабис командировал театрального рецензента Э.М. Бескина. После блестящей речи он оглашает постановление Наркомпроса о даровании Анне Алексеевне Бренко

звания заслуженной артистки.

Еще не успели отзвучать аплодисменты, как перед ней появляется молодой рабочий с целой охапкой цветов и кладет их к ногам юбилярши...

Одна депутация сменяет другую. Я чествую моего старого друга, вспоминая нашу молодость, в стихах:

...Десятки лет назад
Ей поклонялись две столицы.
В кружке блестящей этой жрицы
Встречал я знаменитых ряд:
Тургенев, Достоевский и Островский.
Успенский Глеб, Потехин Алексей.
Полонский, Юрьев, Михайловский.
Плещеев, Рубинштейн... Бывали все у ней.
Глаз Чехова, мерцающий и зоркий.
Глядит в восторге с высоты галерки
На сцену, где Далматов и Бурлак-Андреев.
Козельский, Писарев, и Глама, и Киреев.
Где Южин, юноша тогда, с студенческой скамьи
Уж крылья расправлял могучие свои.
И помню я ее в тяжелые години.
Когда она была еще так молода.
Но в волосах снежились горькие седины.
Свидетели борьбы, и горя, и труда.
И знаю я ее среди рабочих.
Когда она им об искусстве говорит.
Каким восторгом блещут слушателей очи.

Как старый голос молодо звучит!
Зовет народ из мрака к просвещенью.
К познанию истины, добра и красоты.
Себя ты отдала народному служенью.
В твоих учениках живут твои мечты.

Первый раз я увидел А.А. Бренко в пасхальную заутреню при мерцающем свете, на миг ярко освещенную вспышкой бенгальского огня, – и первая мысль была:

«Ай да Вася! Какую красавицу подхватил!» Она шла под руку с прихрамывавшим В.Н. Андреевым-Бурлаком, который сразу узнал меня и отрекомендовал своей даме, спросив раньше, откуда я приехал.

– Из Пензы, места искать, – ответил я.

– Значит, вы чужой в Москве? Ну, так пойдемте к нам разговляться, и будете наш. Поступайте ко мне в театр. Сто рублей в месяц устраивает вас?

Пришли пешком в Петровские линии. Квартира в бель-этаже роскошная, обстановка чудесная, дорогие картины. Столовая блестит серебром и хрусталем, расцвечена крашеными яйцами и букетами в вазах. Общество все было в сборе, и ждали хозяйку дома.

После праздничных приветствий уселись за столом. Мужчины сверкали белоснежным бельем из-под черных сюртуков артистов и адвокатских фраков, а дамы, артистки, – роскошными модными платьями и драгоценностями. Только старуха Е.Ф. Красовская по-старинному была гладко приче-

сана, и на ней была накинута настоящая персидская шаль, как я узнал потом, огромной цены, а на груди старомодно-го шелкового платья сверкала бриллиантами золотая лира, поднесенная ей в один из провинциальных бенефисов. Рядом с ней ее муж, второстепенный артист, всегда приглашавшийся на хорошее жалованье благодаря жене, которая с ним не расставалась.

– Красовская: шестьсот и хвост полтора – итого семьсот пятьдесят, – шутя считал, просматривая список жалованья, муж А.А. Бренко, Осип Яковлевич Левенсон, красивый, с черными баками, модный присяжный поверенный и лучший музыкальный критик того времени, работавший в «Русских ведомостях». – Писарев: восемьсот и привесок семьдесят пять... Это недорого, – улыбался он, читая дальше список.

Знаменитый Модест Иванович Писарев, лучший Несчастливцев, и Ананий Яковлев, игравший вместе со своей первой женой П.А. Стрепетовой «Горькую судьбину», подняли пьесу на такую высоту, какой она не достигала даже в Малом театре. Если огромный, красивый, могучий Писарев был прекрасен в этой роли, то Стрепетова, маленькая, немного сутулая, была неотразимо великолепна.

Величественный Писарев за столом сидел рядом со своей новой женой – молодой красавицей, изящной А.Я. Гламой-Мещерской. И она и Стрепетова служили у А.А. Бренко.

Рядом со мной сидел Василий Васильевич Васильев, крошечный, с черными кудрявыми волосами и маленькими черными глазенками, злобно и строго бегавшими из-под нависших бровей. М.И. Писарев всегда брал его с собой. Он служил всегда там, где служил Писарев. В его кармане всегда имелись или свежие прокламации, или швейцарские издания, или последний номер «Народной воли», о чем знали только его друзья. Я с ним познакомился и подружился впервые еще в 1876 году, когда служил в Кружке, и не раз ночевал в его номеришке в «Чернышах», на Тверской.

Дружеская встреча с ним на разговенье у А.А. Бренко сразу подняла меня в глазах тех, кто знал Васю и кто знал, что он живет по паспорту клинского мещанина Васильева, а на самом деле он вовсе не Васильев, а Шведевенгер, скрывшийся из Петербурга во время обыска в Слепцовской коммуне в Эртелевом переулке. На месте того старого дома, где была эта коммуна, впоследствии А.А. Суворин выстроил огромный дворец для своей газеты «Новое время».

В.В. Шведевенгер во время ареста ухитрился бежать в Казань, встретился с Писаревым, а потом поступил на сцену вместе с ним, да так и остался выходным актером и вместе с ним ярким пропагандистом. Он был связующим звеном между революционерами, ютившимися тогда в Петровском-Разумовском, и избранной компанией А.А. Бренко, которая щедро давала средства на помощь политическим заключенным и ссыльным.

Из присутствовавших за столом немногие знали о революционной деятельности Шведевенгера: из труппы – только Писарев, Стрепетова, Глама, суфлер Н.А. Корнев, а из гостей – С.А. Юрьев, седобородый, волосатый, подслеповатый, похожий на невыспавшегося Зевса переводчик пьесы «Фуэнте Овехуне» Лопе де Вега, нотариус И.А. Маурин – свой человек при театре Бренко, другой нотариус, Орлов, бежавший впоследствии в Швейцарию в связи с «первым марта», и адвокат Иогихес.

Знал еще о Васильеве Ф.А. Корш, товарищ О.Я. Левенсона с университетской скамьи, и, конечно, знал В.Н. Андреев-Бурлак.

Обо всем этом я услышал позднее, а теперь Вася меня знакомил в тихом разговоре с окружающими.

К одним – поклонение, к другим – злоба, причем глаза его свирепо смотрели.

Он улыбнулся, указывая на худощего, длинного, вечно вышучивавшего его актера Матрозова, и окрестил его:

– А это самарский голод!

От него я узнал о происхождении Пушкинского театра, который Бренко из скромности назвала на афише: «Театр близ памятника Пушкина». Он перечислял имена, рассказывал, что в середине семидесятых годов, перед турецкой войной, в Московском университете кончила юридический факультет компания франтов, записалась в помощники к известным адвокатам и сразу засверкала ярким либерализмом,

выступая на суде. Молодые, красивые, они вошли желанными гостями в барские и купеческие дома и в результате женились на богатых невестах. Так, Ф.А. Корш женился на Шелкиной, Левенсон – на артистке Малого театра А.А. Бренко, дочери помещика Челищева, которая свой псевдоним взяла в память какого-то своего предка чуть ли не времен Александра Невского.

Один из этой группы юристов, Шацкий, открыл типографию во флигеле во дворе Пушкинского театра, где много лет печатался журнал «Будильник». Иогихес сделался юрисконсульт Малкиеля, который во время русско-турецкой войны был поставщиком обуви на Задунайскую армию, нажил миллионы и «зашуровал» на всю Москву. Он и купил сразу два дома-дворца на Тверской.

Один дом – на углу Козицкого переулка, где в двадцатых годах был знаменитый салон Зинаиды Волконской, у которой бывал Пушкин. Потом, по преданию, в этом доме «водились черти», а затем владелец его князь Белосельский-Белозерский продал его Малкиелю. Он купил его на имя своей жены Нины Абрамовны, которая, узнав, что в доме был салон княгини Волконской, тоже затеяла у себя салон, но, кроме адвокатов, певцов и артистов, на ее журфиксах, с роскошным угощением, никого не бывало.

Второй дом – напротив, на углу Гнездниковского переулка, где тоже, по легендам, «черти водились», когда там был зверинец Крейцбурга.

Нина Абрамовна скоро уехала в Париж. – В золотой карете там ездит! В газетах об этом пишут, – заговорили по Москве.

Во время журфиксов у Нины Абрамовны Иогихес познакомил Малкиеля со своим другом Левенсоном и его женой Бренко, которая в пассаже Солодовникова открыла свой театр и сразу, благодаря замечательно составленной Андреевым-Бурлаком труппе, стала успешно конкурировать с Малым театром: сборы были прекрасные.

Иогихес уговорил Малкиеля выстроить театр для Бренко. Пока Нина Абрамовна каталась по Парижу в золотой карете, старый нувориш, скучавший без журфиксов, весь отдался постройке театра, пригласив руководителем строительства известного архитектора М.Н. Чичагова. Вскоре вместо дома, где «водились черти» вырос роскошный театр. Мраморная лестница. Бронзовые золоченые перила, азиатские ковры, статуи в фойе, прекрасная сцена и зрительный зал. Так создался театр, который печать величала «Пушкинским», а вся Москва и вся провинция называли «Театром Бренко».

Безумные деньги тратились на труппу. Актеры получали неслыханное до сих пор жалованье. Обстановка и костюмы стоили сумасшедших денег. Огромные сборы не покрывали расходов. Их оплачивал увлекавшийся театром Малкиель, еще пока не знавший счета нажитым в два года войны миллионом. Но, наконец, Нина Абрамовна вернулась в Москву, и снова начались, но только раз в неделю, журфиксы. При-

глашались уже только «первые персонажи».

Преобладали черные фраки адвокатов, защитников, гостей салона, нуворишей в прошлом и будущем. Лилось шампанское. Бывший колонный зал Зинаиды Волконской уцелел, как был при ней, а наружный фасад дома был обезображен Малкиелем. Его изуродовали двумя огромными балконами, выходящими на Тверскую и изображавшими собою раковины с волнами лепных украшений.

Но, должно быть, подрядчик-строитель скопеечничал и произвел лепку из плохого материала.

Как-то в один из журфиксов, когда по Тверской еще гуляла публика, пировавшие были испуганы грохотом падения кирпичных массивов и затем криками ужаса и стонами раненых: лепные украшения балкона рухнули на проходивших.

На другой день жадные тогда на сенсации газеты в подробностях сообщали о несчастном случае на Тверской, а воскресный фельетонист одной борзой газеты озаглавил свое произведение: «Дом из бумажных подметок». Он рисовал картины переходов по снежным Балканам войск в развалившихся сапогах: бумажные подметки отвалились, ноги отморожены, лазареты полны...

Чего-чего уж тут не упоминалось! И в результате новое следствие. Адвокаты дождались работы... Тысячные взятки... Кредиторы, появившиеся за время безумных трат, пристали с ножом к горлу... Пошли взыскания... Дом, где помещался театр, был продан. Полные сборы театра А.А. Бренко

не окупали производившихся расходов, и театр сразу прогорел.

А.А. Бренко осталась без копейки. Имущество мужа было описано за долги. Левенсон снова весь ушел в свою адвокатскую и литературную работу в «Русских ведомостях», продолжая выплачивать наседавшим кредиторам долги по театру.

Умер О.Я. Левенсон, окончательно замученный кредиторами. У А.А. Бренко было два сына. Младший сын, Володя, учился в гимназии, потом окончил Московский университет, стал присяжным поверенным, но его клиентура была небогатая, и он перебивался с трудом.

Я помню одну его блестящую защиту в 1907 году, где его подзащитным рабочим, привлеченным по политическому делу, грозили каторжные работы, но он на суде добился полного оправдания всех. После революции он продолжал свою деятельность в коллегии защитников, но вскоре умер.

Старший сын, Жозя, был с детства ненормальный и доставлял много страданий Анне Алексеевне. Ненормальность перешла в буйное помешательство, и он умер во время одного припадка на руках матери.

После блеска московской жизни обстоятельства забросили А.А. Бренко в Киев, где она с несокрушимой энергией принялась за новую театральную-педагогическую работу. Результатом был выпуск ряда замечательных артистов. Известный режиссер А.П. Петровский был ее учеником.

Какую блестящую биографию можно написать об А.А. Бренко! Ее жизнь – тема для захватывающего романа.

* * *

Времена Пушкинского театра... И.С. Тургенев, А.Н. Островский, С.А. Юрьев, профессора, ученые, музыканты, артисты окружали Анну Алексеевну, бывали у нее в квартире.

За это время она стала известна и сама как драматург: восемь пьес ее шли на сцене. К ней приходили люди нуждавшиеся, и никому, пока у нее были средства, отказа не было. В ее гостиной устраивались вечера в пользу политических ссыльных, она много помогала учащейся молодежи.

* * *

А.А. Бренко как-то всегда жила на много лет вперед и доказала это своим последним трудом: созданием первого рабочего театра и первой рабочей бесплатной школы сценического искусства.

Зимой в 1905 году на сцене Художественного кружка ею была поставлена «Гроза», исполнителями которой были рабочие с заводов, все ее ученики, подготовленные за год в ее школе. Только Кабаниху она играла сама.

С огромным успехом прошел спектакль, и с той поры эта

группа, все пополняемая новыми учениками, исключительно из рабочих, начала играть по московским окраинным театрам, на фабриках и заводах. А студия под ее управлением давала все новые и новые силы.

* * *

Грянула революция. Нахлынула гражданская война, и шестидесятипятилетняя Анна Алексеевна Бренко со своей рабочей группой в продолжение трех лет обслуживает Павелецкую железную дорогу, от Москвы до Раненбурга, работая неустанно с людьми и для людей, которым она отдает все свои силы.

После долгого перерыва я увидел Анну Алексеевну в 1921 году. Она жила в одной из комнат той же квартиры в переулке близ Смоленского рынка, где еще недавно была ее рабочая студия.

Тогда в большом ободранном зале была небольшая сцена, на которой я застал ее, репетировавшую со своими учениками, сплошь рабочими, «На дне». Пьеса была показана в театре бывш. Корша в день празднования ее полувекового юбилея в 1924 году.

В последний раз я застал ее лежавшей на кровати. Она ласкала любимую кошку.

– Анна Алексеевна, узнали?

– Милый Гиляй, как же тебя не узнать? Слышу твой голос,

а тебя не вижу, я совсем ослепла. Подойди сюда, поцелуй меня.

Мы расцеловались. Пошли воспоминания. Я принес ей папирос, коробку мармелада.

– Мармелад. Все-то ты помнишь. Помнишь, что всегда это было мое самое любимое лакомство... Помнишь, как мы чашек с мармеладцем пивали у Соломенной сторожки?

Не забыл.

А.И. Южин

Дача Бренко находилась в Петровском-Разумовском, у Соломенной сторожки. Тогда еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По субботам всегда гости: свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», присяжные поверенные – товарищи Левенсона.

Между чаем и ужином – карт в этом доме не было – читали, Василий Николаевич Андреев-Бурлак рассказывал, М.Н. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и только что вышедшая замуж за С.А. Муромцева, пела. Однажды, не успели сесть за ужин, как вошли постоянные гости этих суббот: архитектор М.Н. Чичагов – строитель Пушкинского театра и общий друг артистов, П.А. Маурин – нотариус и театрал. Их встретили приветствиями и поднятыми бокалами, а они в ответ, оба в один голос:

- Бедного Пукирева паралич разбил!
 - Полное одиночество и ни копейки в доме.
 - Хорошо, что сюда приехали. Сейчас что-нибудь сделаем, – первой отозвалась Бренко.
 - Да куда же, кроме вас, Анна Алексеевна.
- Художник В.В. Пукирев только что вошел в славу.

Его картина, имевшая огромный успех на выставке, облетела все иллюстрированные журналы. Ее, еще не кончен-

ную, видел в мастерской П.М. Третьяков, пришел в восторг и тут же, «на корню», по его обычному выражению, купил для своей галереи. И сейчас эта картина там: «Неравный брак». Старый звездоносец-чинуша, высохший, как мумия, в ордене и ленте, и рядом юная невеста, и

...Священник старый
Кольца уж меняет
У неравной пары.

Церковь богато освещена. Среди разодетой публики, в стороне, скрестив руки на груди, – любимая поза красавца В.В. Пукирева, – безнадежно смотрит на венчание высокий, стройный молодой человек. Чиновник-родитель выдавал за старую мумию, своего начальника, единственную дочь-невесту, и художник дал в картине свой автопортрет. Это знала Москва.

На слова Бренко первым молча откликнулся редактор «Русской мысли» В.М. Лавров, вынув из кармана и положив на стол три «катерины» – три радужные сторублевки.

Сюртуки начали расстегиваться, зашуршали кредитки... Встал редактор «Будильника» изящный Н.П. Кичеев: – Должен вас предупредить, что из этого может ничего не выйти. Пукирев горд до щепетильности, он скорее умрет с голоду, чем согласится принять деньги и помощь по подписке.

Со сверкающими глазами поднялся широкоплечий,

стройный Южин.

– Я глубоко понимаю вашего друга, – обратился он к Кичееву, – и предложил бы иной путь помощи: сделаем литературный вечер в его пользу. Это будет признательность публики любимому художнику, а собранную здесь сумму присоединим к сбору.

А.И. Южину устроили овацию. Я под шумок вышел в соседнюю комнату – кабинет Анны Алексеевны, где мы обычно составляли с ней афиши, – сел за знакомый стол, и, когда окончил стихотворение «Неравный брак», ужин продолжался и обсуждалась программа вечера. Моего отсутствия, конечно, никто не заметил.

– Прошу минуту внимания, Александр Иванович так меня увлек своей идеей вечера, что я написал стихи «Неравный брак», посвящаю их Пукиреву и прошу разрешения прочесть.

Прочитав, при аплодисментах, я их передал Южину.

– Дорогой Александр Иваныч, я прошу вас не отказать прочесть их на вечере.

Южин сорвался со стула, обнял меня, у обоих у нас были слезы на глазах. Это было мое первое знакомство с ним. Программа была тут же составлена – артисты были налицо.

Через несколько дней я получил программу на веленовой бумаге и пригласительный почетный билет от богача И.А. Кошелева, создателя «Русской мысли». Концерт был частный, билеты были распределены между знакомыми, цензуры

никакой. Я ликовал. Еще бы, я, начинающий поэт, еще так недавно беспаспортный бродяга, и вдруг напечатано: «Стихотворение В.А. Гиляровского – прочтет А.И. Южин».

Жил я в это время на Тверской, в хороших меблированных комнатах «Англия», в доме Шаблыкина, рядом с Английским клубом, занимая довольно большой перегородженный номер. У меня в это время пребывал спившийся с кругу, бесквартирный поэт Андреев, печатавший недурные стихи в журналах под псевдонимом Рамзай-Соколий.

Тайну этого псевдонима знал один я. Андреев был сын управляющего имением пензенского помещика Соловцова, державшего богатую псовую охоту. Лучшими собаками были два кобеля: густопсовый Рамзай, бравший волка в одиночку, и хортый англичанин Соколий, от которого ни один заяц не уходил.

Молодой Андреев стал участвовать в попойках с Соловцовым и за пьянство был исключен из гимназии.

После смерти отца Андреев поссорился с Соловцовым, ушел в Москву, попал хористом в общедоступный театр, познакомился с редакциями, стал изредка печататься, потом от пьянства потерял голос и обратился в хитрованца. В это-то время я его и приютил. В честь любимых им соловцовских собак и взял он свой псевдоним.

В день концерта, назначенного в девять часов, я с утра ушел на работу и прямо попал на большой пожар у Рогожской, продолжавшийся весь день, а оттуда поехал в редак-

цию, где наскоро написал отчет, торопясь домой, чтобы переодеться для концерта.

Меня, еще пахнувшего дымом и непросохшего, встретили самые сердечные объятия и пьяные лобзания Васи Григорьева и Сережи Евстигнеева.

Друзья еще утром ввалились ко мне, проездом из Вологды в Тамбов. В Вологде лопнула антреприза Савина: они были без копейки в кармане, так что и за извозчика с вокзала заплатил коридорный Спирька, знавший Григорьева, останавливавшегося у меня ранее.

На круглом столе, без скатерти и тарелок, лежали калачи, булки, огурцы и нарезанная колбаса, стояла уже приходившая к концу четвертная бутылка водки и рюмки.

Рамзай-Соколий и Спирька никак не могли подняться с дивана. Пока я сбрасывал с себя сырое пальто, Спирька, шатаясь, подошел мне помогать, но я ни на что не обращал внимания, всем помышлением находясь на концерте, где А.И. Южин должен был читать мои стихи.

– Спирька, живо мне умыться, да приготовь черную пару! Почисти сюртук!

– Фю-ить! – свистнул он, указывая на пьяный стол. – Вот он, сертук-то!

Выяснилось, что, когда приехали неожиданные гости, Рамзай-Соколий заложил за четыре рубля мой парадный сюртук. Спирька сбегал за водкой, и все четверо к моему приезду были уже на втором взводе. Все старались утешить меня, ко-

гда я потерял последнюю надежду, узнав, что ссудная касса закрывается в семь часов вечера... Вася, который был трезвее других, играл на гитаре и пел свою любимую студенческую песню:

Стою один я пред избушкой.
Кругом все тихо и темно.
И с этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено.

Потом многие из бывших на концерте при встречах спрашивали, почему меня не было:

– А мы вызывали, вызывали вас, автора! Южин очень жалел, что меня не было.

– Мне пришлось выйти за вас и сказать публике, что автор стихотворения на пожаре у Рогожской, и это было встречено шумным приветствием. А сообщил об этом гласный думы Шамин, который два часа назад ехал мимо и видел вас рядом с брандмайором Потехиным: «Оба в саже, оба мокрые!»

С этих дней и началась наша, до самой кончины незабвенного Александра Ивановича Южина ничем ни разу не омраченная дружба.

Почти полвека постоянных летучих московских встреч, стремительных в кипении столичной жизни, между людьми соприкасающихся профессий. Самыми простыми и душевными были те, где за стаканами кахетинского пели грузинские застольные песни.

Александр Иванович был председателем Грузинского общества. Вечера в пользу учащихся, устраиваемые этим Обществом, отличались такой простотой и красотой экзотики, с очаровательной лезгинкой, что самая разнообразная публика столицы битком набивала Колонный зал теперешнего Дома союзов, и половина ее не могла сдержаться, чтобы не хлопать в ладоши в такт лезгинки.

Приглашенных гостей встречали при входе в зал члены Общества и председатель Александр Иванович.

Вечер, посвященный Акакию Церетели. Группа студентов при входе в зал подносит букет из роз своему товарищу, студентке, переводчице поэта, и два депутата, в красных черкесках, провожают ее до ее кресла.

Самого Акакия Церетели Грузинское общество чествовало, справляя его юбилей, в Большом зале Литературно-художественного кружка, председателем которого тоже был Александр Иванович.

Ужин после заседания носил кавказский характер, с неизбежным «Мраволжамиер». Этой грузинской застольной песнью, чередовавшейся с чтением актерами стихов Акакия Церетели в русском переводе и с речами, чествовали старика-поэта до утра.

М.В. Лентовский

Над входом в театр «Эрмитаж» начертано было: «Сатира и мораль».

Это была оперетка М.В. Лентовского, но оперетка не такая, как была в Москве до него и после него.

У него в оперетке играли С.А. Вельская, О.О. Садовская, Зорина, Рюбан (псевдоним А.В. Лентовской, артистки Малого театра), О.И. Правдин, Родон, Давыдов, Ферер, певец Большого театра.

Публика первых представлений Малого и Большого театров, не признававшая оперетки и фарса, заполняла зрительный зал театра Лентовского в бенефисы своих любимцев. В 1882 году, в первом году его блеска (год Всероссийской выставки), в саду «Эрмитаж», залитом (впервые в Москве) электричеством, кто-то в публике, указывая на статную фигуру М.В. Лентовского в белой чесучовой поддевке, бросил крылатое слово:

– Московский маг и чародей.

Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда, но никто не знал, чего это имя ему стоило.

Лентовским любовались, его появление в саду привлекало все взгляды много лет, его гордая стремительная фигура поражала энергией, и никто не знал, что, прячась от ламп Сименса и Гальске и ослепительных свечей Яблочкова в ку-

стах за кассой, каждый день дежурят по очереди три черных ворона, три коршуна, «терзающие сердце Прометея».

Это были ростовщики: Они поочередно, день – один, день – другой, день – третий, забирали сполна сборы кассе.

Как-то одного из них Лентовский увидал в компании своих знакомых, ужинавших в саду, среди публики. Сверкнул глазами, прошел мимо. В театре присутствовал «всесильный» генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвратившись обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгуливает по берегу пруда с сигарой в зубах.

– Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды в публике!

Тот ответил что-то резкое – и через минуту летел вверх ногами в пруд.

– Жуковский! Оболенский! – крикнул Лентовский своим помощникам. – Не пускать эту сволочь дальше кассы, они ходят сюда меня грабить, а не гулять!

Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруду, обиженный богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал как почетный благотворитель. За ним бежал по саду толстый пристав и догнал его, когда он уже отворял дверь в губернаторскую ложу.

– Это что такое? – удивился Долгоруков, но подоспевший Лентовский объяснил ему, как это было. – Ростовщик? И жаловаться! В каком вы виде! Пристав, отправьте его просу-

шиться! – приказал Долгоруков.

Старый солдат исполнил приказание по-полицейски: продержал ростовщика до утра в застенке участка и, просохшего, утром отпустил домой.

И эти важные члены благотворительных обществ, домовладельцы и помещики, как дворовые собаки, пробирались сквозь контроль в кусты за кассу и караулили сборы!

А сборы были огромные, но расходы все-таки превышали их: уж очень широк был размах Лентовского.

Только «маг и волшебник» мог создать из развалин то, что сделал Лентовский в саду «Эрмитаж». Когда-то там было разрушенное барское владение с вековым парком, огромным прудом и остатками дворца; потом француз Борель, ресторатор, устроил там немудрые гулянья с буфетом, эстрадой и небольшой цирковой ареной для гимнастов. Дело это не привилось и перебивалось «с хлеба на квас».

Приехал как-то в этот сад Лентовский. Осмотрел. На другой день привел с собой архитектора, кажется, Чичагова. Встал «в позу Петра Великого» и гордо сказал:

– Здесь будет город заложен!

Говорит, и то размахивает руками, будто рисует что-то, то чертит палкой на песке.

– Так!.. Так! «И запируем на просторе!»

И вырос «Эрмитаж» среди задворок убогих домишек между Божедомским переулком и Самотекой, засверкал огнями электричества и ослепительных фейерверков, загремел

оркестрами из знаменитых музыкантов!

* * *

Летний московский вечер. В саду «Эрмитаж» головка московской публики. Гремит музыка перед началом спектакля. На огромной высоте, среди ажюра белых мачт и рей, летают и крутятся акробаты, над прудом протянут канат для «русского Блондека». На середине огромной площадки цветники с фонтаном, за столиками постоянные посетители «Эрмитажа». У каждого свой столик. Вот редактор «Московского листка» Пастухов со своими сотрудниками. Рядом за двумя составленными столами члены московской Английской колонии, прямые, натянутые, с неподвижными головами. По соседству гудит и чокается – кто шампанским, кто квасом – компания из Таганки, уже зарядившаяся где-то заранее. На углу, против стильного входа, сидит в одиночестве огромный полковник с аршинными черными усами. Он заложил ногу на ногу, курит сигару и ловко бросает кольца дыма на носок своего огромного лакового сапога. Это полицмейстер Огарев.

– Душечка, Николай Ильич, как это вы ловко, – замечает ему, улыбаясь, одна из трех проходящих шикарно одетых дам.

Он милостиво улыбается и продолжает свое занятие.

А кругом, как рыба в аквариуме, беспорядочно двигается

публика в ожидании представления. Среди них художники, артисты, певцы: всем им вход бесплатный.

Антон Павлович Чехов с братом Николаем, художником, работающим у Лентовского, вместе с архитектором Шехтелем стоят у тира и любят одним своим приятелем, который без промаха сшибает гипсовые фигурки и гасит пулькой красные огоньки фигур.

В театре оркестр грянул увертюру, и все хлынули в театр. Серафима Бельская, Зорина, Лентовская, Волынская, Родон, Давыдов – прекрасные голоса, изящные манеры. Ни признака шаржа, а публика хохочет, весела и радостна.

«Сатира и мораль».

В антракте все движется в фантастический театр. Там, где чуть ли не вчера стояли развалины старинных палат, поросшие травой и кустарником, мрачные и страшные при свете луны, теперь блеск разноцветного электричества – картина фантастическая... Кругом ложи в расщелинах стен, среди дикого винограда и хмеля, перед ними столики под шелковыми, выписанными из Китая зонтиками. А среди развалин – сцена, где идет представление. Откуда-то из-под земли гудит оркестр, а сверху, из-за развалин, плывет густо колокольный звон.

Над украшением «Эрмитажа» и его театров старались знаменитости: Карл Вальц, Гельцер, Левот, выписанный из Парижа, Наврозов, Шехтель, Николай Чехов, Бочаров.

Аплодисментам и восторгам публики нет конца. И всюду,

среди этого шума и блеска, мелькает белая поддевка Лентовского, а за ним его адъютанты: отставной полковник Жуковский, старик князь Оболенский, важный и исполнительный, и не менее важный молодой и изящный барин Безобразов, тот самый, что впоследствии был «другом великих князей» и представителем царя в дальневосточной авантюре, кончившейся японской войной.

Безобразов тогда уже бывал в петербургских сферах, но всегда нуждался в деньгах и из-за этого выполнял разные поручения Лентовского, а иногда был у него просто на посылках.

– Жуковский, закажи ужин! Скажи Буданову, что Пастухова сегодня кормлю – он знает его вкусы.

– А ты, князь, опять за уборными не смотришь... Посмотри-ка в павильоне что...

Остается на берегу пруда вдвоем с Безобразовым.

– Так завтра, значит, ты едешь в Париж. Посмотри там, нет ли хороших балерин... Там тебе приказ написан, все подробно. На телеграммы денег не жалея.

– Слушаю, Михаил Валентинович.

А утром я вижу в «Эрмитаже» на площадке перед театром то ползающую по песку, то вскакивающую, то размахивающую руками и снова ползущую вереницу хористов и статистов, впереди которой ползет и вскакивает в белой поддевке сам Лентовский. Он репетирует какую-то народную сцену в оперетке и учит статистов.

Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему: то за распоряжением, то с просьбами... И великие и малые, и начальство и сторожа, и первые персонажи и выходные... Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу... После сверкающей бриллиантами важной Зориной, на которую накричал Лентовский, к нему подходит молоденькая хористочка и дрожит.

– Вам что?

– Мм... мм...

– Вам что?

– Михаил Контрамарович, дайте мне Валентиночку...

– Князь, дай ей Валентиночку! Да две: небось с кавалером! – И снова на кого-то кричит.

М.В. Лентовский частенько бывал «обязан полицией о невыезде из Москвы».

В один прекрасный вечер он вылетел на воздушном шаре за пределы не только столицы, но даже и Московской губернии. Забеспокоились кредиторы, заявили в полицию, а один из самых злобных даже требовал, чтобы полиция привлекла его за нарушение подписки о невыезде.

Дело кончилось ничем, а Лентовский смеялся!

– Я не давал подписки о невылете.

Театральная публика

Каждый московский театр имел свою публику. Самая требовательная и строгая публика была в Малом театре. На первых представлениях всегда бывали одни и те же строгие, истинные любители искусства. Люди, повидавшие все лучшее за границей, они в состоянии были заплатить огромные деньги барышникам или при помощи связей и знакомств получить билеты из кассы.

И рецензенты тогда были строгие и важные. Они занимали места от второго до четвертого ряда: у каждой газеты свое кресло.

Важно и торжественно входили они в зрительный зал, когда уже вся публика сидела на своих местах. Как сейчас вижу: с биноклем, опершись на барьер, осматривает театр Н.П. Кичеев, стройный, вылощенный сотрудник «Новостей» Нотовича; рядом с ним, всегда неразлучно, А.Д. Курепин, фельетонист «Нового времени».

Вот идет на свое место небольшой, с палочкой, человечек. Это – С.Ф. Флеров, самый серьезный из рецензентов, писавший в «Московских ведомостях» под псевдонимом «С. Васильев»; к его статьям, всегда руководящим, очень прислушивались актеры.

Быстро, почти ошупью, как-то боком пробегал, в сопровождении капельдинера, седовласый С.А. Юрьев и садился

рядом с таким же седовласым М.Н. Ремезовым – оба из «Русской мысли». Тут же сидел и А.П. Лукин из «Русских ведомостей», Вл. И. Немирович-Данченко из «Русского курьера» и Н.О. Ракшанин из «Московского листка».

Это были присяжные рецензенты – гроза артистов, всегда одинаковые и неизменные на премьерах всех театров.

На первых представлениях Малого театра, кроме настоящих театралов, бывало и именитое московское купечество; их семьи блистали бриллиантами в ложах бельэтажа и бенуара. Публика с оглядкой, купчески осторожная: как бы не заплодировать невпопад. Публика невыгодная для актеров и авторов.

В Большом театре на премьерах партер был занят барами, еще помнившими крепостное право, жалевшими прежнюю пору, брюзжащими на все настоящее и всем недовольными.

Зато верхи были шумливы и веселы. Истинные любители оперы, неудавшиеся певцы, студенты, ученики равных музыкально-вокальных школ, только что начавших появляться тогда в Москве, попадающие обыкновенно в театр по контрамаркам и по протекции капельдинеров.

...И шумит, и гудит, и не троньте его.

Яко наг, яко благ, яко нет ничего...

В верхних ложах публика «наплывная» Верхняя ложа стоила пять рублей, и десяток приказчиков и конторщиков на-

бивали ее «по полтине с носа» битком, стоя плотной стеной сзади сидящих дам, жующих яблоки и сосущих леденцы.

– И чего актеры поют, а не говорят, слов не разберешь! – жаловались посетители таких лож.

– Одна песня, а слов нет!

Ложи бенуара и бельэтажа сплошь занимались купечеством: публика Островского.

Иногда в арьерложе раздавался заглушенный выстрел; но публика не беспокоилась: все знали, что в верхней ложе жених из ножевой линии угощал невесту лимонадом.

Премьеры театра Корша переполнялись обыкновенно передовыми людьми; писатели, актеры и поклонники писателей и актеров, спортсмены, приезжие из провинции на бега, среднее купечество и их дамы – все люди, любящие вволю посмеяться или пустить слезу в «забирательной драме», лучшая публика для актера и автора. Аплодисменты вплоть до топания ногами и крики при вызовах «бис, бис» то и дело.

«Отколупнет ли крендель» Градов-Соколов, закатит ли глаза томная Рыбчинская, рывкнет ли Соловцов или, как в барабан, лупит себя по груди Рошин-Инсаров, улыбнется ли, рублем подарит наивная Мартынова – на все отзыв от всей души, с шумом и грохотом.

В антрактах купеческие сынки перед зеркалом в уборной репетируют жесты изящного Петипа.

Сам Федор Адамович Корш ныряет среди публики, улыбается и радуется полному сбору.

Как-то священник соседней с театром церкви пожаловался Коршу, что народ мало ходит в церковь. А Корш ему:

– Репертуарчик старенький у вас! У меня вот каждая пятница – новинка, и всегда полно...

Весел Корш, весела публика, веселы актеры, дебютантам – благодать: как ни играй, успех обязательно.

В театре Родона – оперетка... Своя там публика. Пожившая, износившаяся – старые развратники, наблюдающие обнаженные торсы и рассматривающие в бинокли, не лопнуло ли где-нибудь трико у артистки. Публика, воспитанная в «Салощках», кафе-шантанах и в театральных маскарадах.

Были еще два театра – «Немчиновка» и «Секретаревка». Там играли кружки любителей. Много из этих кружков вышло хороших актеров, театры эти сдавались внаймы на спектакль. И каждый кружок имел свою публику.

Один из моих друзей – репортер – прямо по нюху, закрыв глаза, при входе в зал угадывал, какой кружок играет: рыбки ли, мясники ли, овощники ли из Охотного ряда. Какой торговец устраивает, такая у него и публика: свой дух, запах, как у гоголевского Петрушки. Особенно рыбки.

Помню курьез. В числе любителей был в Москве известный гробовщик Котов. Недурно играл. Поставил он «Свадьбу Кречинского» и сам играл Кречинского. Зал бушевал, аплодируя после первого акта, ведь после каждого спектакля Котов угощал публику ужином – люди все были свои.

Наконец, второй акт. Вдруг неожиданно, запыхавшись, в

шубе вбегает на сцену его приказчик и шепчет что-то Котову на ухо.

– Ну? Сейчас. Ступай отсюда!

– Да торопитесь, а то перехватят!

Кречинский сорвал сначала одну бакенбарду, потом другую и бросился, ни слова не говоря, бежать со сцены.

Оказалось, что умер один из богачей Хлудовых, и он побежал получить заказ.

Публика не обиделась: дело прежде всего!

И стали танцевать.

Но совершенно особенные картины можно было наблюдать в незадачливом детище М.В. Лентовского, в театре «Скоморох».

Театр этот назывался «народным», был основан на деньги московского купечества. Конечно, народным в настоящем смысле этого слова он не был. Чересчур высокая плата, хотя там были места от пяти копеек, а во-вторых, обилие барышников делали его малодоступным не только для народа, но и для средней публики.

Не было и подходящего репертуара, но труппа была прекрасная, и посетители валили валом.

Публика ходила в «Скоморох» самая разнообразная: чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, платья декольте шелковые, шерстяные, ситцевые и сарафаны.

В фойе, в буфете дым стоял от разного табаку, до махорки включительно. В зрительном зале запах полушубка и смаз-

ных сапог.

В «купонах» на верхотуре сидят две хорошенькие модистки.

– Ах, какой душка Лентовский! – восклицает одна.

– Да надоела ты мне с ним! Целое утро Лентовский да Лентовский, давай лучше плешивых считать!

– Давай. Один, два, три!..

– Позвольте, Софья Терентьевна, от всего моего сердца предложить вам сей апельсин, – говорит военный писарек, вынимая из заднего кармана пару апельсинов.

– Ах, какой вы, Тихон Сидорович! Вечно собьёт...

– Вы чем это изволите заниматься?

– Оставьте! Двадцать два, двадцать три... – ткнула пальцем Соня чуть не в самую плешивую голову сидевшего впереди их купца.

– Эфти вы насмешки лучше оставьте-с, постарше себя не тычьте, заведите свою плешь, да и тешьтесь. А насчет чужой рассуждение не разводите-с!

– Позвольте-с, – авторитетно заявляет писарь, поправляя «капуль», – это-с, собственно, не касательно вашей плешу, а одна профанация насчет приятного препровождения времени.

– А тебя не спрашивают, не к тебе речь. Погоди, и твой капуль-то вылезет. Вот у меня Филька – приказчик есть. Тоже капулем чесался. Придет к паликмахтеру, да и говорит: остриги меня, чтобы при хозяине по-русски, а без хозяина а

ля капуль выходило...

– Семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять...

– А вы знаете, Софья Терентьевна, песенку про плешивых-с?

– Семьдесят девять... восемьдесят...

– Мы плешивых песенок не знаем. Впрочем, спойте.

– Извольте-с.

Плешь к плешу приходила, Плешь плешу говорила: Ты плешь, я плешь, На плешь капнешь, Плешь обваришь, Что заговоришь...

– Не ожидала от вас таких глупостей, Тихон Сидорович, не ожидала-с...

– Что с дурака взять? – замечает плешивый купец.

– Сам дурак.

– Ну ты, сам дурак и выходишь!

– То есть, какое вы имеете полное право ругаться?

– Еще бьют дураков-то, да и плакать не велят.

– Восемьдесят один, восемьдесят два... восемьдесят три...

– Сиволапый мужик...

– Барин с Хитрова! Жулье!

– Кто? Я жулье?

– Известно, ты.

– Кто, я? Жулье?

– Жулье...

– Жулье? Господин околоточный, господин околоточный... Пожалте-с!

Околоточный грозит от входа пальцем. Поднимается занавес. В театре крики:

– Тише! Тише! Слышится тихий шепот:

– Восемьдесят девять, девяносто, девяносто один...

Шкаморда

Халтура существовала издавна, но под другими названиями, а то и совсем без названий: находились предприниматели, собирали труппу на один-два спектакля где-нибудь на фабрике по заказу и играли. Актеры получали разовые и ездили, причем первые персонажи во втором классе, а вторые – в третьем.

Родоначальницу халтурщиков я имел удовольствие знать лично. Это была особа неопределенных лет, без имени и отчества, бесшумно и таинственно появлявшаяся в сумерки на подъезде Артистического кружка (в Кружок ее не пускали), и тут, на лестнице, выуживала она тех, кто ей был нужен.

В своем рукавистом салопе и ушастом капоре она напоминала летучую мышь. Маленькая, юркая и беззубая.

Ее звали – Шкаморда.

Откуда такая фамилия? Она уверяла, что ее предок был Богдан Хмельницкий.

Как бы то ни было, а вместо нынешнего актерского термина «халтурить» в 1875 году в Москве существовал «шкамордить».

В том же году я служил помощником режиссера в Артистическом кружке. Антрепренерствовал тогда там артист Малого театра Н.Е. Вильде.

Кружок занимал все огромное помещение, ныне занятое

Центральным театром для детей, а перед этим там был знаменитый трактир Барсова с его Белым залом, выходявшим окнами в Охотный и на Театральную площадь.

Этот зал во время великого поста занимали богатые актеры вплоть до закрытия трактира. Здесь часто бывал А.Н. Островский с П.М. Садовским и Н.Х. Рыбаковым.

В те времена Великим постом было запрещено играть актерам, а Вильде выхлопотал себе разрешение «читать в костюмах сцены из пьес». Поэтому, конечно с разрешения всемогущего генерал-губернатора В.А. Долгорукова, «покровителя искусств», в Кружке полностью ставились пьесы, и постом сборы были полные. Играли все провинциальные знаменитости, съезжавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Все остальные театры и в столицах и в провинции в это время молчали. Только предприимчивая Шкаморда ухитрялась по уездным городам и подмосковным фабрикам делать то же, что и Вильде: ставить сцены из пьес в костюмах. Она нанимала и возила актеров.

Крупнейшие артисты того времени ездили с ней в Серпухов, в Богородск, на фабрику Морозова, в Орехово-Зуево, в Коломну: и она хорошо зарабатывала и давала хорошо зарабатывать актерам.

Нуждающимся отдавала последний рубль, помогала больным артистам и порою сама голодала. Мне приходилось два раза ездить с нею в Коломну суфлировать, и она аккуратно

платила по десяти рублей, кроме оплаты всех расходов.

Со строгим выбором брала Шкаморда актеров для своих поездок. Страшно боялась провинциальных трагиков. И после того как Волгин-Кречетов напился пьяным в Коломне и переломал – хорошо еще, что после спектакля, – все кулисы и декорации в театре купцов Фроловых и те подали в суд на Шкаморду, она уже «сцен из трагедий» не ставила и обходилась комедиями и водевилями.

Много потом появилось таких «Шкаморд» – устроителей спектаклей и концертов. Начатое забытой Шкамордой дело разрослось и сделалось весьма почтенным и солидным.

Особенно поддерживали развитие халтуры благотворители. Казенные театры запрещали выступать своим артистам на чужих сценах.

«Помилуйте, казенного жалованья не хватает на чай и сахар», – приводили актеры слова Гоголя.

И им позволяли выступать на благотворительных вечерах, чтобы наработать «на чай и сахар», но только не под своими фамилиями.

На благотворительных вечерах до самой революции артисты выступали под сокращениями или под звездочками. И все знали, что под звездочками арию из «Онегина» исполнит Собинов, монологи Чацкого и Гамлета – А.И. Южин.

Поди-ка, сократи Южина! А вот других весьма узнаваемо сокращали: Д.Ал. Матов, Х.О. Хлов, П.Р. Авдин.

Помню отчет об одном таком частном благотворительном

концерте, где всех расхваливали. Отчет заканчивался строками:

«И даже некто П.И. Рогов поет, как будто Пирогов».

Теперь наши артисты выступают свободно, без звездочек и сокращений.

А мне вспоминается неутомимая труженица с благородной душой: Шкаморда – мать халтуры.

На Хитровке

В 1883 году И.И. Кланг начал издавать журнал «Москва», имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В.А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В.А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького «На дне».

На рисунке дата и надпись: «Дорогому другу дяде Гиляю, защитнику и спасителю души моей, едва не погибшей ради углубленного изучения нравов и невинно извлеченной из недр хитровской ночлежки ради «Дна» в МХАТ в лето 1902 года. В. Симов».

Рисунок В.А. Симова напомнил мне эпизод в ночлежке, населенной людьми театра.

В начале восьмидесятых годов в Москве были только две театральные библиотеки. Одна – небольшая, скромно помещавшаяся в мебелированных в доме Васильева, в Столешниковом переулке, а другая, большая, – на Тверской.

Первую содержал С.И. Напойкин, а вторую – С.Ф. Рассохин. Первая обслуживала главным образом московских любителей и немногих провинциальных антрепренеров, а вторая широко развернула свое дело по всей провинции, включительно до Сибири и Кавказа. Печатных пьес, кроме клас-

сических (да и те редко попадались), тогда не было: они или переписывались, или литографировались. Этим специально занимался Рассохин. От него театры получали все пьесы вместе с расписанными ролями.

Библиотека на Тверской была в бельэтаже; филиальное же отделение, где велась вся переписка, помещалось в грязнейшей ночлежке Хитрова рынка, в доме Степанова. Здесь в нижнем этаже ютился самый разбойничий трактир «Каторга»... А в надворном флигеле, во втором этаже, в квартире номер шесть, состоявшей из огромной комнаты, разделенной сквозной дощатой перегородкой, одну половину занимали нищие, а другую – переписчики Рассохина. Они работали в экстренных случаях ночи напролет.

Огромнейшие деньги получала библиотека, наживая заказчиков в десять раз больше, чем платила своим «писакам», как их звали на Хитровке.

За расписывание ролей они получали по тридцать пять копеек с акта, а акты бывали и в семь листов в десять. Работа каторжная, в день можно написать шесть-семь листов, не больше. Заработок в день выходил от двадцати до тридцати копеек, а при самых выгодных условиях, то есть при малых актах, можно было написать копеек на сорок.

– Если пишем с листа, – рассказывал хитрован, бывший суфлер, – то получаем по пять копеек за лист, и тоже более восьми листов не напишешь. Эту работу мы считаем выгодною и очень рады, когда она нам попадается, но это быва-

ет редко. Вся беда в том, что работа у нас не постоянная – нынче, завтра кое-что, а там дня два ничего нет. Куда хуже нищих! Они в другой половине нашей квартиры живут. Не житье им, а малина. Раза три в день пьяны бывают, выпятыся и опять лопают. И кусочки им подают с купеческого стола, и одеты тепло – даром, что с виду лохмотья. День гуляют, а ночью дрыхнут так, что писать нам нельзя, – от воздуха лампа гаснет. А мы сидим босые и полуголодные и никак на одежку не соберем... И покупать уж не стараешься – все равно пропьем. Я только что вырвался оттуда, дядя вчера нашел меня там босым, в одной рубашке, сводил в баню, постриг, как видишь. Послезавтра еду с ним в Казань – он меня в театр опять пристроит. Там суфлер плохой.

– Может быть, ты меня сведешь? – спросил я его.

– Никак нельзя... Как попаду, опять застряну. Оттуда выхода нет: придется все пропить, так не выпустят... Со мной уже это бывало. А ты обязательно сходи. Придешь, увидишь, за столом сидят, или пишут, или водку пьют. Прямо к ним. Спроси там старшего, Ивана Артемьевича, скажи, что тебя из библиотеки прислали, просят работишку дать тебе... Да оденься как можно похуже. Иван Артемьевич у нас выборный, потрезвее других. Библиотека ему сдает на руки работу, ему и деньги уплачивает, а он уж рассчитывается с нами: все деньги делим поровну, а ему сорок копеек за ходьбу с каждой полочки даем, кроме заработанной доли.

На другой день, в воскресенье, я пошел на Хитровку

под вечер. Отыскал дом Степанова, нашел квартиру номер шесть, только что отворил туда дверь, как на меня пахнуло каким-то отвратительным, смешанным с копотью и табачным дымом, гнилым воздухом. Вследствие тусклого освещения я сразу ничего не мог разобрать: шум, спор, ругань, хохот и пение – все это смешалось в один общий гул и настолько меня поразило, что я не мог понять, каким образом мой приятель суфлер попал в такую ужасную трущобу.

Мой приход никого не удивил, и никто не полюбопытствовал о цели моего появления. Я стал осматриваться: это была огромная квадратная комната в пять окон; вокруг стен были сплошные нары, и на них в самых непринужденных позах кто сидел, кто лежал; некоторые чинили свои отрепья. Соседняя ночлежка, нищенская, была еще хуже. Там под нарами, на разостланных на полу грязных рогожах, ютились преимущественно женщины; тут же, на протянутых над нарами веревочках, сушились грязные тряпицы, юбки и другие принадлежности женского туалета. Пол был отвратительно грязен и блестел от мокроты. Нога ступала в мокрую грязь так же мягко, как на улице. Посреди комнаты за большим столом, под висячей лампой, сидело человек шесть, и казалось, они очень спешили сшивать какие-то тетради. Я подошел к столу и спросил об Иване Артемьевиче.

– Он болен, – усмехнувшись, ответил мне маленький рыженький человечек с быстрыми плутовскими глазками. – Нынче он не выходил из своих апартаментов, но труп его мо-

жете узреть вон там налево, под нарами, откуда – слышите? – раздается богатырский храп.

– Он справляет байрам, – пояснил мне Другой, сидевший в темной рубашке с оторванным по локоть рукавом, – и если он вам нужен и вы в состоянии поднести ему стаканчик жизненного эликсиру, то он сейчас же явится к вам.

– Я послан к нему из библиотеки, – объяснил я, – и желал бы узнать относительно условий переписки.

– Ну, насчет этого вы сегодня вряд ли что узнаете, потому что Иван Артемьевич, говоря откровенно, нынче пьян; да и вообще, судя по вашему обличью – костюму, – вы не согласитесь работать с нами.

В это время подошел к столу высокий мужчина с усами, с лицом безжизненного цвета, одетый в коротенькую, не по росту, грязную донельзя рубашку, в таких же грязных кальсонах и босиком. Волосы его были растрепаны, глаза еле глядели из-под опухших красных век. Видно было, что он со страшного похмелья и только что встал от сна.

– Кто пришел из библиотеки? – спросил он хриплым голосом. – Деньги принесли? У кого деньги? Давайте порционные!

Между сидевшими за столом раздался смех. Высокий человек направился ко мне. Я, в нерешительности, хотел было отступить, но он, обходя стол, поскользнулся и, падая, задел меня.

– Ах, pardon, – проговорил он, вставая с полу и протянув

ко мне свои мокрые от грязи руки, – я это нечаянно. Мне послышалось, что кто-то пришел из библиотеки, я и думал получить свои порционные.

Мне не хотелось говорить с пьяным, и, к моему удовольствию, кто-то из-под нар отозвал этого господина к себе. Через минуту он уже пел, сжимая в руках стакан с водкой:

Всему на свете мера, Всему есть свой конец, Да здравствует мадера, Веселие сердец.

– Кто это? – спросил я. – Знакомый голос!

– Один актер-любитель из дворян. Второй год у нас очолачивается... Три раза брали его родные, одевали, как барина, а он опять к нам... Говорит на всех языках. В Париже прокутился... Пишет хорошо.

«Кто же это? Неужели...» – мелькало в памяти.

Перебила рассказ безногая нищенка: она высыпала на стол из мешка гору корок, ломтей черного хлеба и объедков пирогов.

– За все гривенник!

– Мы у нищих хлеб покупаем, втрое дешевле лавочного. Окуски пирогов попадают... Вот, глядите, ватрушки уголком.

– Здесь и обедаете?

– Куда же мы, голые, пойдем? Одни опорки на четверых. У съемщицы харчимся, обед из четырех блюд четыре копейки, каждого кушанья на копейку; шей, супу, картошки и две каши. Хлеб свой, вот этот. За ночлег – пятак. Верит до по-

лучки. Сейчас деньги из библиотеки пришлют – разотчемся...

Мы смотрели на пляску пьяных нищих. Безногая топотала в стоптанных башмаках, развевая над головой рваным платком, а за ней, петушком, петушком, засеменял босой нищий, бросив свои два костыля на нары и привизгивая:

Ходи, барыня, смелей.
Музыканту веселей...

Потом явился из соседней ночлежки гармонист, и разноголосый хор заорал свою любимую:

Пьем и водку, пьем и ром.
Завтра по миру пойдем.

Изорин спал поперек нар, один опорок свалился на пол. Так и не пришлось мне поговорить со старым товарищем по сцене: когда я зашел через месяц, его опять разыскали друзья и увезли.

* * *

После этого первого посещения я стал иногда заходить к «писакам», если друзья просили меня показать им трущобы, я обязательно водил их всегда сюда, как в самую скромную и безопасную квартиру, где меня очень уважали, звали по

имени-отчеству, а иногда «дядя Гиляй», как я подписывался в журналах и газетах.

На Хитровке, в ее трех трактирах, журналы и газеты получались и читались за столами вслух, пока совсем истреплются. Взяв читалась уголовная и судебная хроника (особенно в трактире «Каторга»), и я не раз при этом чтении узнавал такие подробности, которые и не снились ни следователям, ни полиции, ни судьям. Меня не стеснялись, а тем, кто указывал на меня, как на чужого, говорили:

– Это наш, газетчик, он не лягнет.

На «Каторгу», к переписчикам, я водил раз Т.Л. Щепкину-Куперник.

Я познакомился с Татьяной Львовной за кулисами театра Корша. Она играла гимназиста и была очень хорошеньким мальчиком. В последнем антракте, перед водевилем, подошла ко мне вся сияющая, счастливая успехом барышня, и я не сразу узнал после гимназического мундира Т.Л. Щепкину-Куперник.

Спустя долгое время я с ней встретился в Малом театре. Она, начитавшись моих статей о трущобах, просила показать ей их и пригласила меня зайти к ней. Она занимала маленький флигелек по Божедомке вдвоем с артисткой Терьян и прислугой. Три небольшие уютные комнатки: картины, безделушки, портреты писателей. Вечера веселья, небольшой кружок одних и тех же знакомых молодых артисток. Пение, музыка и чтение. И только дамское общество. Я любил бы-

вать там. Просьбу показать ей Хитровку я все отклонял – не хотелось ее окунать в грязь, но, наконец, уступил.

Татьяна Львовна одела очень скромную шубку, на голову дешевый шерстяной платок, а на ноги валенки. Я решил ей показать только переписчиков. Пока мы шли рынком мимо баб, торговавших с грязными фонарями на столах разной «благоухавшей» снедью, которую пожирали оборванцы, она поражалась и ужасалась. Да еще бы не ужасаться после ее обычной жизни в уютном флигельке!

А тут:

– Иди, на грош горла отрежу. – Тухлая.

– А тебе за семитку-то с лимоном? Пошел... Дальше пьяная ругань и драка.

В трактире «Каторга» дерутся. Кого-то вышибают за дверь. Звон стекол... Вопли о помощи...

Мы исчезаем в темном проходе, выбираемся на внутренний двор, поднимаемся во второй этаж, я распахиваю, дверь квартиры номер шесть. Пахнуло трущобой. Яркая висючая лампа освещает большой стол, за которым пишут, согнувшись, косматые, оборванные, полураздетые, с опухшими лицами, восемь переписчиков. Подняли головы и радостно меня приветствуют.

– Мешать не буду... я вот зашел с молодой писательницей – показать ей, как ее пьесы переписывают.

Встали, кланяются.

– Очень рады... Мы уж кончили, последнюю страничку...

А кто она? – спрашивает старик из военных писчиков.

– Щепкина-Куперник.

– Твердо – люди! Недавно переписывали!

– Да, Татьяна Львовна.

И все внимание обращено на нее. Усадили. Разговаривают о пьесах, о театре. В соседней комнате за дощатой перегородкой ругаются и спорят пьяные нищие...

* * *

Шли годы. Шагнули в двадцатое столетие. М. Горький ставил «На дне», и меня В.И. Немирович-Данченко просил показать Хитровку для постановки пьесы. Назначен был день «похода», и я накануне зашел узнать, в той ли еще они квартире. Тот же флигель, та же квартира во втором этаже, те же лампочки-коптишки *у нищих* и большая висючая лампа с абажуром над рабочим столом. Кое-кто из стариков цел, но уже многих нет.

Работы в этот день не было. За столом сидел голый старик и зашивал рубаху. Мы были знакомы по прежним встречам на Хитровке. Съемщица квартиры подала нам запечатанную белую бутылку водки «смирновки». Обыкновенно подавала она сивуху в толстых шампанских бутылках: они прочнее.

А перед нами —

Скрестивши могучие руки.

Главу опустивши на грудь,

– глядя на нас жадным взором, стоял в одном нижнем белье и в опорках положительно Аполлон Бельведерский. Он был выше всех на голову, белые атлетические руки, на мизинце огромный холеный ноготь, какие тогда носили великосветские франты.

– Пригласи «барина», – шепнул мне мой товарищ и пома-нил его рукой.

С улыбкой сквозь красивые усы и бородку он крепко пожал мне руку, сделал легкий поклон, щелкнул опорками пятку о пятку, как, по-видимому, привык делать в сапогах со шпорами, и отрекомендовался: поручик Попов. Думаю, что это был псевдоним. Уж очень он на меня свысока смотрел. Но когда мы выпили по четвертому стаканчику, закусывая соленым огурцом, нарезанным на газете, с кусочками печенки, он захмелел, снизошел до меня и разговорился.

– А знаете, – обратился он ко мне, – вот здесь мы с вами водку пьем, а я через неделю должен был баллотироваться в уездные предводители дворянства, и мое избрание обеспечено. Мой отец губернский предводитель, уважаемая личность...

Я слушал, глядя на него: верю, мол.

– Кроме отца, никто не знает, что я старый хивинец. Я здесь третий раз. Раз прожил на Хиве полгода, тоже пьесы переписывал. Отец разыскал и привез домой. Через год

я опять попал сюда – и год прожил. Отец опять увез к себе в имение, и я уж было дома привык. Занимался хозяйством, танцевал, охотился, запои мои прекратились совершенно. Решил баллотироваться, а потом жениться. Я считался завидным женихом. Поехал на месяц в Крым и там, кроме легкого вина, ничего не пил. И вот, возвращаюсь из Крыма. Билет был прямо до Петербурга. Камердинер поехал с вещами в купе, а я пошел пешком с Курского к Николаевскому вокзалу. Поезд отходит через два часа, в одиннадцать ночи. Пошел в «Славянский базар» поесть да с Лубянской площади вдруг и повернул на Солянку. Думаю: зайду на Хиву, в «вагончик», где я жил, угощу старых приятелей и прямо на курьерский, еще успею. А на другой день проснулся на нарах в одной рубашке... Друзья подпустили ко мне в водку «малинки». Даже сапог и шпор не оставили... Как рак на мели. Теперь переписываю пьесы – и счастлив.

Надо заметить, что он слегка картавил, заменяя букву «р» по-аристократически «г», пересыпал речь французскими словами, чокаясь, говорил «прозит» или «олрайт» – у него выходило «оль гайт». Он, видимо, захмелел.

– Ничего, приедет отец, выручит, – сказал я.

– К черту! Опять ходить по струнке! Настоящая жизнь здесь. Ведь это прелесть что такое: ничем не стеснять ни себя, ни других, распустить себя до состояния дикого человека, чувствовать себя во всех действиях свободным. Ведь это роскошь! *C est superbe!*

Он встал во весь рост, покачнулся, красивым жестом поднял стакан, сделал им приветственный полукруг, обвел всех сияющими глазами, чокнулся со мной, и, грассируя, с улыбкой произнес:

– Алла верды!

* * *

От переписчиков я зашел в трактир «Каторга». Меня встретил буфетчик Семен Васильев, которого я знал здесь еще мальчиком-половым.

На моих глазах он превратился в буфетчика. Одет в пиджак, через шею серебряная цепь с передвижной подковой, с голубой эмалью, которую я еще помню на его хозяине Кулакове лет двадцать назад: это хозяйский подарок. Семка увел меня в свою каморку за посудным шкафом, принес бутылку елисеевского портвейна, две рюмки и пару антоновских яблок.

Семка был здесь много лет моим «собственным корреспондентом» и сообщал все тайные новости Хитрова рынка, во-первых, потому, что боялся меня, как бы я не «продёрнул» в газетах трактир, а во-вторых, потому, что просто «обожал» писателя. Словом, это был у меня свой человек. Он старался изо всех сил рассказать всегда что-нибудь интересное, похвастаться передо мной своим всезнайством.

Ему давно было известно, что у меня много знакомых

среди самых отчаянных обитателей подземелий «Утюга» и «Старого оврага», с которыми я за «семикаторжным» столом его трактира не раз водку пивал: и Беспалый, и Зеленщик, и Болдоха, и Степка Махалкин, родной брат Васьки Чуркина, – меня не стеснялись, сами мне давали наперебой материал и гордились, перечитывая в газетах свои сообщения, от которых полиция приходила в ужас.

Из-за, этого и сам трактирщик Кулаков меня подобострастно принимал, а уж Семка прямо в нитку передо мною тянулся. Он первым делом заявил мне, что теперь служит на отчете, а хозяин живет в своем имении и редко приезжает. Рассказывал о старых общих знакомых – кто сослан, кто на высидке, кто где «дельце обделал». Во время рассказа он на минутку отрывался к кассе получать деньги.

– А вчера ночью обход был... Человек двести разной шпаны набрали. Половина нищие уже опять вернулись, остальные в пересыльной сидят... и эти придут... Из деловых, как всегда, никого – в «малине» отсиделись. А было что взять: с неделю назад из каторги вернулся Болдоха, а с ним Захарка... Вместе тогда за убийство судились и вместе бежали... Еще его за рост звали «Полтора Захара, с неделю ростом, два дни загнулось». Вы помните их?

– Болдоху хорошо знаю. Он мне сам рассказывал о Гуслицком сундуке, а я с его слов напечатал подробности... Небольшой, с усами, звали Сергей Антонов, помню...

– Теперь не узнаете. Носит подвесную бороду, а Безухий

и ходит и спит, не снимая телячьей шапки с лопастями: ухо скрывает. Длинный, худющий, черная борода... вот они сейчас перед вами ушли от меня втроем. Злые. На какой хошь фарт пойдут. Я их, по старому приятству, сюда в каморку пускаю, пришли в бедственном положении, пока что в кредит доверяю. Болдохе сухими две красненьких дал... Как откажешь? Сейчас!

Вернувшись от кассы, сказал:

– Приодеться надо, ищут фарта, да еще не наклевывается. Харчатся и спят у Бардадыма.

– Это в вашем «Утюге», в подвале?

– Да, бывшая ночлежка. Золотого... там сокровенно, туда лягавые не сунутся.

– Знаю, ход со двора, внизу. А постарел Болдоха?

– Нет, все такой же бык, только седой, а бороду добыл рыжую.

* * *

Выйдя на площадь, под фонарем, я увидел оборванца, лицо которого показалось мне знакомым.

– Игнат, – окликнул я, – ты как попал?

– Как всегда, запил на две недели, запой прошел, а я уж месяц в Кулаковке околачиваюсь, не в чем на место явиться.

Обрадовался мне, слезы на глазах.

– Завтра утром заходи ко мне, я тебя одену.

– Не могу в этом виде днем. Позвольте вечером.

– Завтра вечером меня не будет дома, приходи послезавтра, а пока держи рублевку на харчи.

Мы расстались. Игната я давно знал. Он был коридорным в номерах Фальцфейна на Тверской. Честнейший человек, хотя знался с самыми что ни на есть разбойниками Хитрова рынка, куда два раза в год попадал: запьет, в пьяном виде сейчас же на Хитровку, в излюбленную ночлежку. Через две недели запой проходит, и если хитрованские Друзья сработают какой-нибудь фарт, то приоденут его, и он снова на службе. Его излюбленное место было в ночлежке Бардадыма и у шулеров, которые обыгрывают по притонам и по рынкам в «черную и красную» или «три листа». Сам же он в карты никогда не играл.

На другой день, как мы условились раньше, я привел актеров Художественного театра к переписчикам. Они, раздетые и разутые, сидели в ожидании работы, которую Рассохин обещал прислать вечером. Лампа горела только в их «хазе», а в соседней было темно: нищие с восьми часов улеглись, чтобы завтра рано встать и идти к ранней службе на церковную паперть.

Радость, когда я привел таких гостей, была неопишима. Я дал пять рублей, хозяйка квартиры подала нам «смирновки», а другим сивухи. По законам ночлежки водку обязаны покупать у хозяйки – это ее главный доход. Водка, конечно, всегда разбавлена водой, а за «смирновку» в запечатанном

виде платилось вдвое.

Художник В.А. Симов с карандашом и альбомом и еще кое-кто сели за стол, а кто и стоял. Щегольские костюмы и рвань. Изящный В.И. Немирович-Данченко блистал своей красиво расчесанной бородой и с кем-то разговаривал.

В высокомерной позе, на том же самом месте, как и вчера, с красиво поднятым стаканом, полураздетый, но гордый, стоял рядом с К.С. Станиславским мой вчерашний собеседник – оба одного роста. Все «писаки» были еще совершенно трезвы, но с каждым стаканом лица разгорались и оживлялась беседа.

– Приветствую вас у себя, дорогие гости, – грассировал «барин», обращаясь к К.С. Станиславскому и обводя глазами других. – Вы с высоты своего театрального Олимпа спустились в нашу театральную преисподнюю. И вы это сделали совершенно правильно, потому что мы тоже, как и вы, люди театра. И вы и мы служим одному великому искусству – вы как боги, мы как подземные силы... Ол райт!

Он хлопнул залпом стакан.

К.С. Станиславский стал с ним говорить, перемешавшиеся лохмотья и шикарные костюмы склонились над столом и смотрели на рисунок Симова, слышались возгласы одобрения, только фигура чайки вызвала сомнение. Нешто это птица?

Ночлежка нищих нестерпимо зловонила и храпела. Я нюхал табак, стоя у двери, около меня набралось человек де-

сять любопытных из соседней ночлежки. Вдруг меня кто-то тронул за руку:

– Угостите табачком.

Оглядываюсь – Игнат. Он значительно смотрит на меня и кладет четыре пальца себе на губы. Жест для понимающего известный: молчи и слушай. И тотчас же запускает щепоть в тавлинку, а рукой тихо и коротко дергает меня за рукав. Это значит: выйди за мною. А сам, понюхав, зажав рот, громко шепчет: «Ну, зачихаю» – и выходит в коридор. Я тоже заряжаю нос, закрываю ладонью, чтобы тоже не помешать будто бы чиханьем, и иду за Игнатом. Очень уж у него были неспокойные глаза.

– Владимир Алексеевич, выкидывайтесь скорее с вашими гостями отсюда, да скорее, сей минутою, а то беда.

– Что такое?

– Жизнью вы все рискуете! Уводите своих... Вам накроют темную, будет драка, вас разденут. Ну, уходите. Как я уйду, так и вы за мною все...

Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в «малину» под ночлежкой Бардадыма пришел один «фартовый» и сказал, что к писакам богатые гости пришли. Болдоха из «Каторги» сразу шепчет соседу – Дылдой звать: «Ты, Дылда, как мы войдем и я тебе мигну, лампу загаси, и мы темную накроем».

– Это он сказал тому беглому, что с собой из каторги привел, а меня послал: «Сейчас, Игнашка, погляди, что и как и

стоящее ли дело». Уходите, я бегу, меня ждут... – и нырнул на лестницу.

Я на минуту задумался: врет или не врет Игнашка? Я уверен, что он не врет, но, может, преувеличивает. Я решил все-таки увести гостей и с этими мыслями пошел в ночлежку.

Вдруг слышу – по лестнице идут несколько человек, и сквозь решетку перил под лампой показалась длинная фигура в оленьей шапке. Подобные шапки носили в Вологде зыряне. Борода у него черная, как описал мне буфетчик. Да, это Безухий, которого называл Болдоха Дылдой. А вот и широкая, приземистая фигура Болдохи с бородой на боку.

Уходить поздно. Надо находить другой выход. Зная диспозицию нападения врага, вмиг соображаю и успокаиваюсь: первое дело следить за Дылдой и во что бы то ни стало не дать потушить лампу: «темная» не удастся, при огне не решатся. Болдоха носит бороду, – значит, трусит. Когда Болдоха меня узнает, я скажу ему, что узнал Безухого, открою секрет его шапки – и кампания выиграна. А пока буду следить за каждым, кто из чужих полезет к столу, чтобы сорвать лампу. Главное – за Дылдой.

К.С. Станиславский все еще разговаривает с «барином». Бутылка сивухи гуляет по рукам толпящихся у двери. Это набежали любопытные из соседней ночлежки, подшибалы и папиросники, – народ смирный, а среди них пьяный мордастый громилка Ванька Лошадь. Он завладел шампанкою, кое-кому плеснул в стаканчик, а сам, отбиваясь левой рукой, ду-

дит из горлышка остатки.

Около В.А. Симова шум, кто-то задорным голосом упрекает его:

– Нешто это мой патрет? Пачиму такое одна щека черная? Где она у меня черная? Где? Гляди!

Кто за художника, кто за того... Голоса слились в споре. А пятеро «утюгов» с деловым видом протиснулись ближе и встали сзади налегших на стол спорщиков. На них никто никакого внимания: не до того – на столе водка.

Болдоху я бы и не узнал, если бы не привесная борода, которую он то и дело поправлял. Я его помню молодым парнем с усами: бороду брил, щеголь. Зато сразу узнал несуразного Дылду по его росту и шапке с ушами.

Я делал вид, что слушаю разговоры, а сам следил из-за чьей-то спины за «утюгами». Перешептываются, и глаза их бегают и прыгают по костюмам гостей: они делят заранее, кому и кого атаковать.

Болдоха толкает в спину Безухого; тот боком, поднимаясь на носки, через плечи наклонившихся над столом, заглядывает на В.А. Симова, а сам подвигается вперед к лампе. Потом встал сзади тех, что навалились на стол со стороны нищенской перегородки со стоявшей вдоль нее широкой скамьи. Кое-кто стоит на ней коленами. Черная борода тихо подвигается над ними, болтаются желтые лопасти шапки. Там шумят и пьют водку. «Барин» со стаканом в руках что-то проповедует. А отдельно стоящие «утюги», видимо, волну-

ются и зыркают глазами. Только Болдоха исподлобья смотрит будто на пол и невозмутимо подкатывает внутрь длинные рукава рваного полушубка. Но центр внимания кучки и мой – Безухий, замерший в стойке над лампой, как собака над дичью. Все дело – в нем.

Если схватить и оттащить его – затеется борьба, в это время кто-нибудь из кучки успеет, пользуясь суматохой, погасить лампу, – и свалки не миновать. Единственный исход – бесшумно уничтожить гасителя Дылду, а Бол доху – словом ушибить. Безухий уперся пальцами откинутой правой руки в перегородку, чтобы удержать равновесие, потянувшись левой к лампе. Грудь открыта... шея вытянута... Так и замер в этой позе.

За столом галдеж. На В.А. Симова навалились с руганью. Кто за него, кто против. Он испуганно побледнел и съежился. Ванька Лошадь с безумными глазами бросился к столу, бешено замахнулся над головой В.А. Симова бутылкой.

Я издали только успел рявкнуть:

– Лошадь, стой!

Но в этот же миг сверкнула белая рука в рваном рукаве, блеснул длинный холеный ноготь мизинца. Как сейчас я вижу это и как сейчас слышу среди этого буйства спокойное:

– Pardon!

Бутылка уже была в руках «барина». А под шум рука Дылды уже у лампы. Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он – ни звука.

– Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то...

Все это было делом одного момента. Мелькнула в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные «импровизации» бурлака Петли, замечательный эффект их, – и я мгновенно решил воспользоваться его методом.

Я бросился с поднятым кулаком, встал рядом с Болдохой и строго шепнул ему:

– Бороду сорву. – И, обратясь к центру свалки, глядя на Ваньку Лошадь, который не мог вырваться из атлетических рук «барина», заорал диким голосом:

– Стой, дьяволы!.. – И пошел, и пошел.

Импровизация Петли с рядом новых добавлений так гремела, что даже разбудила нищих. А между новыми яркими терминами я поминал родителей от седьмого колена, шепча Болдохе:

– Степку Махалкина помнишь?..

– Тра-та-та...

– А Беспалова?.. А дьяконову кухарку на Кисловке?..

– Тра-та-та...

– А золото Савки? А Гуслицкий сундук?

– Мерзлую собаку...

– Ну, узнал ты меня, что ли, Антон?

Он глядит на меня безумными глазами, скривившаяся борода трясется.

– А золотого? Помнишь, как его я прописал? Бороду по-
правь!

– Дядя? Это ты...

– Ну, и заткнись! К вам, сволочи, своих друзей, гостей
привел, а вы что, сволота несчастная? А еще люди! Храпаи-
долы! Ну?!

Все стихло. Губы у многих шевелились, но слова рвались
и не выходили.

– Не бойсь, не лягну, – шепнул я Болдохе... и закатился
финальной тирадой, на которую неистовым голосом завиз-
жала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгру-
дившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова:

– Окстись! Ведь завтра праздник, а ты... – И тоже меня
руганула очень сочно.

Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело
крикнул:

– С праздничком, кума!

– Бгаво... бгаво... – заплодировал первым «барин», а за
ним переписчики, мои актеры, нищие и вся шатия, вплоть до
«утюгов», заразилась их примером и хлопала в первый раз
в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобре-
ния.

Позднее столица восторгалась пьесой Горького и вызыва-
ла художника В.А. Симова за декорации, которые были точ-
нейшей копией ночлежки Бардадыма, куда я его водил еще
не раз после скандала у переписчиков.

Восходящая звезда

В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми, казенного рисунка, столбами, и сквозь них был протянут толстый канат.

У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступать, и виноватый, преступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение «табу».

Такое «табу» лежало на Театральной площади: оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен, с тою только разницею, что виновного не казнили, а отправляли в квартал (тогда еще «участков» не было, они введены с 1881 года), чего москвичи совершенно справедливо боялись.

– Насыплют по первое число, а то, гляди, и выпорют!

* * *

Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой полярной тундры с нетронутым целинным снегом, огороженной аракчеевскими казенными столбами и канатом!

Тундра во всей целомудренной неприкосновенности.

И это в то время, когда кругом кипела жизнь, гудел всегда полный народа Охотный ряд, калейдоскопом пестрел широкий Китайский проезд, и парами, и одиночками, и груженными возами, которые спускались от Лубянской площади, лошади упирались в канат и поворачивали в сторону, кто к Большому театру, кто к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к Охотному ряду и дальше.

Думается, что лихой наездник Аполлон, правящий четверкой коней со своей колесницей над фронтоном театра, кричит: «Вот дураки! Чем зря кружиться, сняли бы с среднего пролета кусок веревки – и вся недолга!» И ругается греческий бог, как пьяный кучер, потому что он давно омосквичился, а в Москве все кучера пьяницы, а трезвых только два: один вот этот, на Большом театре, а другой на «Трухмальных» воротах у Тверской заставы, да и то потому, что тот не настоящий кучер, а «баба с калачом».

Вслед за старым москвичом Аполлоном уже вслух на всю улицу ругаются и все кучера, извозчики и ломовики. А богатеи, что на собственных выездах щеголяют, даже заикнуться не дерзают. А замолчали они после того, как их выборных «отцов города» в заседании Думы, когда они эту Аполлонову мысль об открытии одного пролета высказали, начальство так пугануло, что душа в пятки ушла.

Командующий войсками генерал Гильденштубе велел передать городскому голове, что «в Думе пусть думают, что хо-

тят, а говорить, что не полагается, – не сметь!»

На десять лет замолчала Дума, пока какой-то смелый гласный опять не поднял этого Аполлонова вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий оклик, хотя командующий войсками был другой генерал – Бреверн де ля Гарди.

И снова вся Москва продолжала кружить около каната.

Целинный снег все лежал и лежал целомудренной белой скатертью, а кругом каната ходили хожалые и будочники и наблюдали, чтоб кто-нибудь не нарушил «табу», и особенно следили, чтобы «канатные» прогуливались только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана. Это уже они творили волю обер-полицмейстера, издавшего приказ: «Ввиду соблюдения благоустройства строжайше запретить шляться проституткам Чельшевских и Китайских бань по тротуарам и разрешить им хождение только по наружной стороне площади на три шага от каната и только с одной стороны, к Китайской стене выходящей».

Так и звали этих особ «канатными», и не было тогда хуже оскорбления, как выругать: «канатная».

Они состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой: туда посылали, как в допетровские времена воевод в отдаленные города «на кормежь».

Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон популярного трактира Тестова, числившегося,

как писалось на его прејскурантах, «поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича», посещавшего, как и другие высокопоставленные особы, трактир во время своих наездов в Москву.

Но «поставщика» и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих, действительно замечательных, молочных поросят, выращиваемых каждый в особом ящике с перегородками, «чтобы он жирку не с брыкнул».

Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому:

– Гони своих канатных под Китайскую стену – князя наехали.

И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, не тронутую ногой человеческой.

Редко, редко, когда след по снегу появлялся. Находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат, если, конечно, будочника близко нет, и стремглав перебежали площадь, что некоторым удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались:

– Это я пробежал!

Десятки лет пустовала площадь. А кажется, чего искать лучшие места для зимней прогулки детей! Но никогда следа детских ножек и салазок не появлялось там, потому что было строго приказано не пускать ребятишек мять казенный снег.

А все-таки снег мяли и следы на нем были, иногда оди-

ночные, а то и групповые. Тут предрержащая власть была бессильна. Да и что могла поделаться полиция с собаками, которые, пробегая из Охотного или в Охотный прямым путем, иногда деловито останавливались у столба, балансируя на трех ногах, а четвертой, непременно задней, поддерживали столб, может быть, из осторожности, чтобы не упал: вещь казенная. Мало ли что собака думает? Собаки умные! По крайней мере, они учли, что безлюдная площадь – это самое удобное место для их свадеб, которые они и играли на виду у всех. Бывало, весь снег испетляют следами, а ничего не поделаешь!

Наконец открылся один пролет, пошла потом по нему конка, а затем трамвай, и в конце концов, вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весной и покрытой тучами пыли летом шоссированной площади, образовался чудный сквер – место отдыха москвичей и радость детям.

Круглый год гуляют дети там, где в старые годы устраивались раз или два в году парады войск и ради этих двух раз площадь была «пустопорожним местом», как писалось в казенных бумагах.

В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани ночью и остановился у приятеля, актера Селиванова, в его номере, в «Челышах», так как *у меня не было ни копейки денег.*

На другой же день я пошел в Артистический кружок, где

по рекомендации актеров Киреева и Лебедева был принят на службу помощником режиссера, и обосновался в столице.

До восьмого марта 1876 года я и внимания не обращал на площадь, а в этот день она осталась у меня в памяти навсегда.

Я вышел из актерского подъезда «Челышей», что против фонтана работы скульптора Витали. Было десять утра, а репетиция – в двенадцать. Я остановился на углу Китайского проезда и нашей гостиницы и впервые подумал: сколько зря приходится крюку делать! То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было: иди по диагонали прямо от подъезда гостиницы до подъезда Кружка! А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около подъезда Большого – ровно вдвое дальше! А главное, переходить среди беспорядочной езды по суетному Китайскому проезду! Потом уже его городская управа назвала Театральным, а народ доселе все Китайским зовет. Кроме Челышевских были на другой стороне, на углу Неглинного проезда, Китайские бани. Их потом переименовали в Центральные, а долго звали Китайскими.

* * *

Сейчас, когда я пишу это, в тысячный раз благодарю тот самый дурацкий канат: не будь его – я многое бы потерял в жизни.

День солнечный. Огороженная площадь бела от свежего

снега, хотя на улицах снег уже обратился в ореховую халву. Стою и люблюсь задрапированным снегом Аполлоном в колеснице на четверке коней. Он украшает фронтон Большого театра, поддерживаемый колоннами, из которых каждая весит двенадцать тысяч пудов или держит такой груз, как мне говорил когда-то архитектор М.Н. Чичагов. Любуюсь пролетавшим полицмейстером Араповым, то есть не им, а прекрасной рыжей парой, золотившейся на солнце. Коренник мчится призовой рысью, а красавица пристяжка изогнула шею кольцом, морда вниз: «землю ест!» На повороте с Петровки он переехал собачонку, сшиб с головы лоток у разносчика и умчался, даже не оглянувшись.

За ним сверху, с Лубянки, мчались одиночки, пары, тащились ваньки – зимники на облезлых клячах, тоже ухитрявшиеся торопиться под горку. Обрато, из Охотного, встречные им, едут в гору обыкновенно тихо. Прополз сверху обоз, груженный мороженой рыбой. На паре битюгов везли громадную белугу, причеи голова ее и туловище лежали на длинных дровнях, а хвост покоился на Других, привязанных к задку первых.

– Белужина-то пудов на сто! – говорили в кучке остановившихся поглазеть на чудо природы.

Обоз застрял на повороте и задержал огромную древнюю карету с иконой Иверской божией матери. На козлах сидел кучер и дьячок, головы которых были повязаны у одного женским платком, а у другого башлыком, потому что в шап-

ке считалось икону грех везти.

Лавина саней сверху продолжала спускаться. Показался большой возок на четверке вороных лошадей цугом с фореитором в монашеской скуфейке вместо шапки.

– Митрополит! – говорили остановившиеся прохожие, снимали шапки и кланялись возку, из окна которого митрополит в черной рясе с широкими рукавами и в белом клобуке с бриллиантовым крестом благословлял на обе стороны народ. Он ехал к Кремлю.

Но больше меня заинтересовал следующий выезд – карета на высоких круглых рессорах на паре старых-старых, но породистых крупных рысаков, с седым кучером в голубой бархатной шапке с четырьмя острыми углами. Рядом с ним такой же старый, министерского вида, с серебряными огромными баками, выездной лакей в цилиндре с золотым галуном, а над крышей кареты виселись две шляпы, тоже с галуном, над серьезными лицами двух огромных гайдуков, начисто выбритых. Они стояли на запятках, сзади кареты, держась за широкие ременные поручни. Сквозь окна кареты мелькнул передо мной лиловый капор, выглядывающий из пушистого воротника.

– Любуется Москвой? – сказал остановившийся передо мной высокий человек с проседью, в тонком пальто и модной тогда между интеллигенцией драповой шапочке «пирожком», на манер сербской.

Он протянул мне руку, сбросив с нее вязаную перчатку.

– Здравствуйте, Петр Платоныч! – обрадовался я.

– Любуется Москвой? В эти часы для наблюдений место интересное! Ну где вы увидите таких? – И он указал по направлению кареты с лакеями. – Это, изволите ли видеть, крупная благотворительница, известная под кличкой «Обмакни». Она подписывает бумаги гусиным пером и каждый раз передает перо своему секретарю, чтобы он обмакнул в чернила, и каждый раз говорит ему: «Обмакни». Ну, вот она как-то и подписала по ошибке под деловой бумагой вместо своей фамилии: «Обмакни». А вы, конечно, на репетицию?

– Да, но еще рано, вот и гуляю до двенадцати. День очень хорош, десять градусов.

– И прекрасно. Пойдемте в «Щербаки», и позвольте вас угостить расстегаем со свежей икрой.

* * *

Мы двинулись по тротуару Малого театра по направлению к «Щербакам», на Петровке против Кузнецкого моста. Этот трактир, в деревянном домике с антресолями, содержал старик Спиридон Степанович Щербаков, благодетель бедных актеров и друг всех знаменитостей артистического мира. Не успели сделать двух шагов, как сзади звякнули шпоры и раздался голос:

– Князь, я вас вчера на бенефисе видел!

– Здравствуйте, Иван Львович!

Перед моим спутником стоял жандарм в пальто с полковничьими погонами, в синей холодной фуражке. Я невольно застыл перед афишей на стене театра и сделал вид, что читаю, – уж очень меня поразило вид жандарма: паспорта у меня еще не было, а два побега недавних – на Волге и на Дону – так еще свежи были в памяти.

Я теперь не могу сказать, о чем была афиша: я делал вид, что читаю, а на самом деле прислушивался к разговору и помышлял, как бы провалиться сквозь землю, потому что бежать боялся: как бы не вызвать подозрения. До меня доносились отрывочные фразы полковника, на которые односложно, как-то сквозь зубы, будто нехотя, отвечал князь.

– Эту пьесу следует запретить. Довольно уж разной нигилищины и своей, а то еще переводная!.. Да там прямо призыв к бунту!.. Играла прекрасно... Ну да только и она все-таки с душком, читает на вечеринках запрещенные стихи, Некрасова читает!

Князь что-то отвечал – я не расслышал.

– Ну, я тороплюсь... Дела неотложные... Щелкнули шпоры – и высокая фигура в сером пальто замоталась по тропинке рядом с канатом.

– Это главный московский жандарм. Хитрая bestия! Идет к себе в канцелярию. – И Петр Платонович Мещерский указал на большое желтое здание рядом с домом Тестова, доходившее до угла Охотного.

Это был дом Журавлева. Впоследствии, в восьмидесятых

годах, он сломал его и выстроил «во всех стилях» пестрый домище, который сдал ресторатору Пинчеру под гостиницу. Дом этот, в том же виде, стоит и теперь, как и дом другой, напротив, гостиница «Метрополь», сооруженный «по-модерному» Саввой Ивановичем Мамонтовым на месте старинного барского дома Чельшева.

Эту сторону площади изменили эти два дома. Зато другая – с Малым и Большим театром и дом Бронникова остались такими же, как и были прежде. Только владелец Шелапутин почти незаметно сделал в доме переделки по требованию М.В. Лентовского, снявшего под свой театр помещение закрывшегося Артистического кружка. Да вырос на месте старинной Александровской галереи универсальный магазин «Мюр и Мерилиз» – огненная печь из стекла и железа...

* * *

Петр Платонович Мещерский, которого жандарм называл «князем», был действительно потомок обедневшей княжеской семьи. Прекрасно образованный, он Существовал переводами, литературным заработком, гонораром за свои пьесы и был некоторое время в Москве мировым судьей. Его камеру охотно посещали газетные репортеры, находившие интересный материал для газет.

Это был очень остроумный человек, судья, умевший боль-

шинство дел решать примирением сторон, никогда не давая в обиду бедняка, чем и прославился среди малоимущего населения столицы. Он никогда не позволял выбросить на улицу домовладельцу, какого бы высокого ранга тот ни был, семью бедняка за невзнос платы. Бывало, так пристыдит богатея, что тот откажется от иска. Если же какая-нибудь купчиха или ерепенистая барыня судится с прислугой, то он так вышутит истицу, что вся камера покатывается со смеху. Он судил всегда по правде и в конце концов, снискав любовь и уважение населения, нажил себе врагов среди сослуживцев.

– Какой-то нигилист, а не князь! – шипели на него родовитые дворяне.

Опять скажу: если б не было каната на Театральной площади, я бы прямо прошел из «Челышей» в Кружок... Если б жандарм не задержал нас на три минуты, не было бы и другой знаменательной встречи и не было бы тех слов Петра Платоновича, которые на всю жизнь запечатлелись в моем сердце. Такие слова мог сказать только такой человек, как П.П. Мещерский.

Я с ним познакомился в первые дни моего поступления в Кружок, старшиной которого он был и ведал сценой. Он все вечера проводил в Кружке, приходя поздно только в те дни, когда в Малом театре бывали новые постановки. И всегда с актерами – будь они большие, будь они маленькие – днем завтракал в «Щербаках», а потом, когда они закрылись, в «Ливорно» и у *Вельде*, актерских ресторанчиках.

Его знали и любили все актеры, начиная с маленьких, и он был дружен с корифеями сцены, а в Малый театр приходил как домой. Его мнение об игре и постановке очень ценилось, и его указаний слушались знаменитости. Он был другом с Островским, Юрьевым, Чаевым, Лесковым, Горбуновым. Я видал его в их компании в Кружке неизменно, когда они бывали там. Он приходил рано, садился один за свой любимый стол у камина, рядом с буфетной комнатой, и вскоре к нему подсаживались и драматурги, и актеры, и литераторы. Он был центром для всех, а в «Щербаках» и «Ливорно», где постом все столы были заняты, садился куда придется, а пригласить Петра Платоновича к столу хотелось всякому, и он охотно знакомился с приезжими актерами, будь они первые персонажи или простые хористы.

Все знали театрала князя Мещерского, и все знали, что он не любит, когда его титулуют князем.

– У меня еще имя есть, Петром Платоновичем зовут, – говорил он кому-нибудь из новых знакомых, которые назовут его или князем, или – от чего он морщился – вашим сиятельством. Последнее он особенно не любил.

За глаза же и даже в провинции, рассказывая о Москве, актеры хвастались, что у них есть друг в Москве – князь Мещерский. И правда – бедноте он был друг, и к концу поста, когда актеры проживались до копейки, он многим помогал деньгами из своих очень небольших средств.

Он был холост. Жил одиноко, в небольшом номере в до-

ме Мосолова на Лубянке, поближе к Малому театру, который был для него все с его студенческих времен. Он не играл в карты, не кутил, и одна неизменная любовь его была к драматическому искусству и к перлу его – Малому театру. С юности до самой смерти он был верен Малому театру. Неизменное доказательство последнего – его автограф, который случайно уцелел в моих бумагах и лежит предо мною.

В 1908 году, в мой юбилей, я получил от него на полутора листах поздравление «В.А. Гиляровскому, старому театралу». Вот письмо, теплое и милое, написанное под его диктовку:

«Если Гиляровский хотя с малой сердечной теплотой вспомнит о нас, друзьях его детства, то для нас это будет очень приятно... Да, это было очень давно, то было раннею весною, когда мы, от всей души любя здешний Малый театр, в его славное время, были знакомы».

Письмо подписано: «Старый театрал, член Общества русских драматических писателей», и далее его собственноручная подпись дрожащей рукой, неровными буквами, без всякого нажима, сделанная, по-видимому, лежа: «Князь Петр Пл. Мещерский».

А внизу, опять чужой рукой: «Ново-Екатерининская больница».

Через некоторое время после получения письма я пошел навестить старого друга, которого не видал много лет, и не знал даже, жив ли он, но мне сказали, что его похоронили.

К театральному подъезду, скрипя железными шинами высоченных колес, дребезжа каждым винтиком, подползла облезлая театральная карета, запряженная парой разномастных «кабысдохов», из тех, о которых поется: «Были когда-то и мы рысаками».

Кучер, в рваном, линючем армяке, в вихрастой плешивой шапке, с подвязанной щекой, остановил своих драмодеров, по-видимому к великой их радости, у подъезда театра, и из кареты легко выпорхнула стройная девушка в короткой черной шубке с барашковым воротником и такой же низенькой шапочке, какие тогда носили учительницы.

Передо мной мелькнул освещенный солнцем нежный розовый профиль. Она быстро нырнула в подъезд, только остались в памяти серые валенки, сверкнувшие из-под черной юбки.

– Вы видели? – положив мне руку на плечо, сказал мне спутник.

– Славная барышня! Уж очень у нее движения легки... Вся радостью сияет.

– Еще бы, в балете была! Да не в том дело. А вот вы верно сказали – вся радостью сияет. Это она после вчерашнего. Вы знаете, кто это? Это восходящая, яркая звезда.

– Не знаю.

– Ну так знайте, что эту встречу вы не раз в жизни своей вспомните... Это наша будущая великая трагическая актриса. Я вчера только окончательно убедился в этом... Не

забудьте же – это Ермолова.

Всю дорогу до «Щербаков» и сидя вдвоем за ранним завтраком еще в пустой почти зале он говорил – и я в первый раз в жизни был очарован таким человеком и таким разговором. Впрочем, я молчал, и, кажется, только единственный вопрос и предложил:

– О ком говорил жандарм? Кто это она «с душком»? Задаю этот вопрос, а сам думаю с трепетом сердца: «Уж не Ермолова ли?»

Я вспомнил афишу: «Овечий источник».

Именно о ней речь шла. Жандарм возмущился выбором для бенефиса такой революционной пьесы и припомнил ее участие на студенческих вечерах.

Князь продолжал о бенефисе. Рассказал сюжет «Овечьего источника», рассказал о детстве Ермоловой и ее дебюте, о ее нарастающем успехе.

– Только вчера я неопровержимо убедился в этом. Я вчера пережил такие восторженные моменты, да не один я, а весь театр; такие моменты, о каких до сих пор и в мечтах не было. Монолог Лауренции, обесчещенной командором ордена Калатравы, владельцем Овечьего источника, призывающий на сходке народ отомстить тирану, вызвал ураган восторга, какого никто не запомнит. Особенно слова ее в монологе:

Почти своими сдали вы руками Овечку бедную волчице хитрой – были произнесены с таким героическим энтузиазмом, какого никогда не слыхал даже Малый театр со време-

ни, может быть, Мочалова.

* * *

После завтрака Петр Платонович проводил меня до подъезда Кружка. С этого дня началась наша дружба, скоро, впрочем, кончившаяся, так как я на Пасхе уехал на много лет в провинцию, ни разу не побывавши в этот сезон в Малом, потому что был занят все спектакли, а постом Малый театр закрывался.

Но все-таки постом я еще раз видел, и тоже издали, Ермолову. Это было у нас, на вечере Артистического кружка.

Немало дней и ночей между первой и этой второй встречей я думал о Ермоловой, немало переговорено было о ней за это время с Мещерским, и великолепный образ артистки всплыл передо мной в ряде картин. Год за годом, шаг за шагом...

Через двадцать лет, в 1896 году, в юбилейные дни Марии Николаевны я прочел ряд статей о первых годах ее жизни, и прочитанное показалось мне знакомым.

Я уже знал от Петра Платоновича, что пятилетняя Ермолова, сидя в суфлерской будке со своим отцом, была полна восторгов среди сказочного мира сцены; увлекаясь каким-нибудь услышанным монологом, она, выучившись грамоте, учила его наизусть по пьесе, находившейся всегда у отца, как у суфлера, и, выучив, уходила в безлюдный угол

старого, заброшенного кладбища, на которое смотрели окна бедного домишки, где росла Ермолова. Там, на этом пустыре, с вросшими в землю каменными гробницами, она одна декламировала монологи... Это грустное место было местом ее гулянья и первых сценических восторгов.

Девяти лет отец отдал ее в театральную школу, где на драму не обращалось внимания, а главным был балет. Танцевали целый день, с утра до вечера, и время от времени учениц посылали на спектакли Большого театра «к воде».

Не давались танцы кипевшей талантом девочке и не привлекали ее. Она продолжала неуклонно читать все новые и новые пьесы у отца, переписывала излюбленные монологи, а то и целые сцены – и учила, учила их. Отец мечтал перевести ее в драму и в свой бенефис, когда ей минуло тринадцать лет, выпустил в водевиле с пением, но дебют был неудачен.

Прошло еще три года. Отец попросил И.В. Самарина, и он, по дружбе, согласился поучить дочь, но через два-три дня от урока отказался и посоветовал оставить дочь в балете.

А она упорно не бросала своего. В училище, во время отдыха, она читала товаркам монологи и восхищала их.

Репетировали для бенефиса Н.М. Медведевой «Эмилию Галотти». Пьеса, по обыкновению, находилась у отца, и дочка, как и всегда, прочла ее, увлеклась, переписала и выучила роль Эмилии и опять в школе прочла товаркам.

Перед бенефисом заболела Г.Н. Федотова. Играть некому. Бенефис пропадает. Кто-то из школы шепнул Н.М. Мед-

ведевой о дочери суфлера, читавшей роль Эмилии. Медведева прослушала, ей понравилось, и 30 января 1870 года в бенефисе выступила молоденькая, неведомая кордебалетная ученица.

С каким восторгом рассказывал мне все подробности Мещерский, очевидец первого триумфа Ермоловой. На его добрых серых глазах посверкивали слезы, когда он говорил об этом дебюте.

– С трепетом сердца я пришел в театр, но первое появление на сцене грациозной в своей простоте девушки очаровало зал, встретивший ее восторженными аплодисментами... Успех был огромный. На другой день все газеты были сплошной похвалой молодой артистке. Положение ее в труппе сразу упрочилось... А там что ни новая роль, то новый успех.

Ряд разнообразных ролей: и Марфинька в «Царской невесте», и Весна в «Снегурочке», и Катерина в «Грозе», и Альдара в «Сумасшествии от любви», Жанна Д'Арк, Лауренция...

Теперь, перечитав целые книги о Марии Николаевне, я вспоминаю Петра Платоновича, слышу его тихий, восторженный голос...

Вспомнил я первые те слова его и 2 мая 1920 года, в великий день всенародного чествования Марии Николаевны в Малом театре, через сорок лет вспомнил.

Я сидел на сцене среди deputаций и вместо приветственной речи, под влиянием общего восторга, памятуя вешее

слово незабвенного Петра Платоновича, приветствовал великую артистку тут же на программе набросанным экспромтом:

Полвека славы.
Красивой жизни.
Одна, одна Вы
У нас в отчизне.
Без перемены
Тогда и ныне
Вы русской сцены
Одна богиня.
Одна, одна Вы
У нас в отчизне
В сияньи славы
Кипучей жизни!

И вспомнилось мне когда-то услышанное от П.П. Мещерского вещее слово:

– Это восходящая звезда!

Тогда для меня, еще молодого актера, увлеченного сценой, она уже явилась великой артисткой, хотя я увидел ее только на один миг: сверкнул и сейчас розовый профиль в морозный день на бриллиантовом фоне солнечного снега...

Через несколько дней совершенно неожиданно я увидел эту восходящую звезду в окружении светил, ярче всех засиявшую для меня.

Это было в Московском артистическом кружке.

По случаю болезни двух главных артистов отменили спектакль и решили заменить его музыкально-литературным вечером, программа которого была составлена на утренней репетиции, участвующие частью приглашены тут же, а если кто не явится, легко было заменить кем-нибудь из провинциальных известностей, из которых каждому было лестно выступить на московской сцене. А.М. Максимов сказал, что сегодня утром приехал в Москву И.Ф. Горбунов, который не откажется выступить с рассказом из народного быта, С.А. Вельская и В.И. Родон обещали дуэт из оперетки, Саша Давыдов споет цыганские песни, В.И. Путята прочтет монолог Чацкого, а П.П. Мещерский прямо с репетиции поехал в «Щербаки» пригласить своего друга – чтеца П.А. Никитина, слава о котором гремела в Москве, но на сцене в столице он ни разу не выступал, несмотря на постоянные приглашения и желание артистов Малого театра послушать его. В числе последних была и М.Н. Ермолова, сама прекрасная чтица, давно мечтавшая о Никитине. Дирекция успокоилась, потому что такой состав сохранял сбор, ожидавшийся на отмененную «Злобу дня», драму Потехина, которая прошла с огромным успехом год назад в Малом театре, но почему-то была снята с репертуара. Главную женскую роль тогда в ней играла Ермолова. В провинции «Злоба дня» тоже делала сборы. Но особый успех она имела потому, что в ней был привлекателен аромат скандала.

Открыто говорили, что три действующих лица списаны с натуры: петербургский крупный делец барин... ищев, московский миллионер, разбогатевший на железнодорожных подрядах Петр Ионыч Губонин и его сын Сережа, которого знали посетители модных ресторанов, как вообще знали там молодых купеческих сынков, не жалевших денег на удовольствия.

Потехин отнекивался, когда ему указывали, что он вывел известных людей, но ему трудно было оправдаться – в афише печатными буквами стояло опровержение, разбивавшее его самозащиту:

«Градищев – железнодорожный деятель, подрядчик Хлопонин и Сергей Петрович, сын его».

Какие созвучия фамилий! А главное вот – Сергей Петрович! Сережа!

По пьесе Хлопонин хочет женить своего сына на дочери Градищева, в которую тот влюбился, но которая, в свою очередь, влюблена в другого. В этом и драма. Пользуясь запутанными обстоятельствами Градищева, который приехал к нему, товарищу по подрядам, с просьбой выручить его деньгами, Хлопонин обещает, но взамен просит выдать дочь за своего Сережу. Градищев считает себя оскорбленным таким предложением и, рассерженный, выходит из кабинета миллионера, не простившись с хозяином и хлопнув дверью.

Оставшись один, Хлопонин расстегивает свой долгополый сюртук, вынимает толстый бумажник, хлопает по нему

ладонью и самодовольно бросает вслед оскорбленному барину:

– Придешь!

Этот конец второго акта имел особенно бешеный успех в Москве.

Пьеса написана прекрасно, кончается драмой и смотрится великолепно.

– Как живой Петр Ионыч! – кинул кто-то на первом спектакле крылатое слово, и на другой день весь город, так и живущий сплетнями, задыхался от смеха:

– Как Губонина-то процыганили!

– Да что ты?

– И сюртук долгополый, и золотая цепь через шею, и сапоги бутылками! Ну как есть живой! И ухватка вся его! И Сережа его... Ну как есть купецкий сынок!

Губонин был крупный миллионер, начавший свою деятельность сперва десятником при постройке Московско-Рязанской железной дороги, а потом подрядчиком, забравшим и земляные работы по поставке камня, и наконец сделался владельцем крымской жемчужины – Гурзуфа.

– Это моя любовница, – говорил он про Гурзуф и распивал чаек под пушкинским кипарисом, под которым лично для себя беседку выстроил...

После его смерти наследники под этим кипарисом расплескивали, угощая друзей, «пену сладких вин» гурзуфских виноградников, пока не расплескали и самый Гурзуф и от-

цовские миллионы.

Да и нетрудно было расплескать миллионы. Два сына Губонина были люди некоммерческие. Отцовское дело было с убытком ликвидировано. Гурзуф продан, из своего дома пришлось выехать на квартиру, и братьев разорили ростовщики. Первое время, пока еще были средства, братья жили широко. Благотворительные генералы и дамы-благотворительницы обирали их вовсю, да вообще у них никому от казу не было в деньгах.

Сейчас, когда я это пишу, жив в Москве старик, который рассказывает, что только благодаря младшему Губонину он не погиб.

В Москве в то время славился ростовщик А.Д. Кашин, кругом Гарпагона с него пиши. Огромного роста, сухой и костистый, в долгополом сюртуке, черномазый, с ястребиными глазами, он с часу дня до позднего вечера пребывал ежедневно в бильярдной Большой московской гостиницы, играл по рублику партию на бильярде, причем кия в руки не брал, а мазиком с «ярославским накатом». Игру он сводил наверняка, да кто из клиентов отказался бы проиграть ему рубль в ожидании от него переписки векселя. Он прямо царил в бильярдной и главенствовал.

– Вот туда-то я и пошел, – рассказывал старик. – Поставил в бланк, на векселе в восемьсот рублей, родственника выручил, – он возьми да умри! Значит, с меня получать. А я бухгалтером на ста рублях служил, семья большая, сбере-

жений ни рубля, а вексель у Кашина. Вхожу в бильярдную. Он, длинный, стоит у бильярда с мазиком в руках, зверски хохочет. А из-под бильярда вылезает красный весь толстяк в черном, измазанном пылью сюртуке, известный всей гулящей Москве бывший купец Емельянов, Иван Иванович. Он тогда уже был «на прогаре» и просил о переписке векселя, а Кашин над ним издевался. Проиграл, стало быть, он Кашину рубль и пролазку.

Оглянулся Кашин на меня, не дал мне даже поздороваться и кричит:

«Срок помнишь – хорошо! Ну становись по целковому, бери кий!»

«Да я сроду и в руках его не держал».

«Черт с тобой! Пойдем за мной».

Приводит в комнату рядом. Это, так сказать, его контора, зовет полового:

«Федя, дай чаю полпорции с медом. Получи с них».

Я заплатил полтинник.

«Ну, принес деньги? Давай».

«Нет у меня денег, выручите как-нибудь, Александр Данилыч!»

«Уж это ты судебного пристава проси, когда опишет...»

Я в ужасе, чуть не плачу – рассказываю о своих злоключениях, а он прихлебывает чай да только одно слово и говорит:

«Бывает... Бывает».

А потом встал, пошел в бильярдную – а там уж его ждут

должники – и прямо за мазик. Я к нему с просьбой.

«Видишь, занят... Чего торопиться, еще завтра срок... Уходи с глаз».

Вышел я – себя не помню. Пошел наверх в зал, прямо сказать – водки выпить. Вхожу – народу еще не много, а машина что-то такое грустное играет... Вижу, за столиком сидит Губонин, младший брат. Завтракают... А у Петра Ионыча я когда-то работал, на дому проверял бухгалтерию, и вся семья меня знала, чаем поили, обедом кормили, когда я долго засижусь. Я поклонился.

«Петр Петрович! Садитесь завтракать... Я вот дожидаю приятеля. Не идет что-то».

Я сам не знаю, как сел и шапку на стол положил. Расспрашивает о семье, о детях, о делах. Отвечаю, что все хорошо, а у самого, чувствую, слезы текут... В конце концов я все ему рассказал и о векселе и сцену с Кашиным.

«Ну вот какие пустяки, о чем думать! – Вынул из кармана пачку радужных, взял мою шапку, сунул незаметно в нее и сказал: – Принеси же мне вексель от Кашина, да поскорее, чтобы завтрак не остыл... Иди же, иди же, после расскажешь».

Спустился вниз. Кашин кончил партию, на меня никакого внимания. Подхожу к нему, а он на меня:

«Сказал, уходи. Чего ты?»

Я уж смелости набрался даже до нахальства.

«Давай, – говорю, – вексель, вот деньги!»

Приоткрываю ему шапку...

Он схватил меня за руку, бросил мазик на бильярд и потащил меня в комнатку. Там стоял уж другой поднос с чаем и вазочка с вареньем клубничным, а вместо чашек стаканы. Это он каждого проходящего к нему заставлял спрашивать порцию чаю в угоду буфету – не даром хожу, мол!

Вытащил паук из бумажника пачку векселей и показывает мой.

«Давай вексель».

«Деньги на стол! У меня один первогильдейский вырвал вексель да в один миг слопал... ухватил меня, держит и лопает...»

Я выложил деньги, он счел и отдал вексель. А потом сделал хитрую рожу:

«Ну и жулик же ты!»

При прощании сказал ласково:

«Ежели надо кредит, приходи, отказу тебе не будет».

Губонину я предложил выдать вексель на восемьсот рублей, а он отказался:

«Будут лишние деньги – отдадите, а если когда нужда, то к этому мерзавцу не обращайтесь».

Пришло время – Губонина векселя оказались у Кашина. Через несколько лет, когда я уже стал зарабатывать много, я возвратил мой долг в то время, когда уж совсем разорились наследники Губонина.

Хуже стало с наследством Кашина. Его судили за злостное ростовщичество и сослали в Олонецкую губернию, где он вскоре и умер, оставив после себя единственного сына, малого лет двадцати, которого держал, не отпуская от себя ни на шаг, в строгом повиновении, намереваясь сделать его продолжателем своего дела.

У отца другой клички для него не было в глаза и за глаза, как Данилка. Сухой, жилистый, черноглазый, ростом почти с отца и похожий на него во всем, оставшись круглым сиротой, Данилка – другого имени ни от кого ему и впоследствии не было – ошалел от богатства. Отец не давал ему ни рубля... Первым делом попал в бильярдную Московской гостиницы, где он просиживал целые дни при отце, и встретился там с кутилой Емельяновым, тем самым, которого отец заставлял лазить под бильярд. Не забыл Емельянов разорившего его ростовщика и отыгрался на его детище!

Попал с ним Данилка к «Яру», потом на бега, а там закружил с прожигателями жизни и аферистами. Поймали его на унаследованной им от отца скаредности и жадности к наживе.

Первым делом шулера, которые повели умелую атаку, сначала проигрывая мелкие суммы, а потом выигрывая тысячи... Втравили в беговую охоту, он завел рысистую конюш-

ню, но призов выигрывал мало... Огромный дом у храма Христа Спасителя и другие дома отца были им спущены, векселя выкуплены за бесценок должниками, и в конце концов он трепался около ипподрома в довольно поношенном костюме, а потом смылся с горизонта, безумно и зло разбросав миллион в самых последних притонах столицы.

* * *

Сбор в Кружке на вечер был полный. Взявшие билеты на «Злобу дня» охотно остались на литературный вечер, на дивертисмент с такой интересной программой. Тогда были в моде дивертисменты, а в провинции особенно. Редкий бенефис обходился, чтобы после основной пьесы не было дивертисмента. В те годы очень любили слушать чтение, и чтецы тогда были прекрасные. Читка стихов считалась большим искусством, идеал чтения – чтобы стиха слышно не было. Старая мода скандирования стихов гремевшими трагиками уже прошла, мелодекламация, скрывающая недостатки стиха, была не нужна, потому что стихи выбирались по Пушкину: «если брать рифму, бери лучшую», да и содержание выбиралось глубокое, а главное, по возможности или с протестом, или с гражданской скорбью, всегда со смыслом. Особенно слушался Некрасов.

В провинции дивертисменты имели больше успеха, чем в столицах, да и чтецов между провинциальными премьерами

больше было. В семидесятых годах на обе столицы славился Монахов, но он был гораздо слабее провинциальной знаменитости – южного актера П.А. Никитина, производившего огромное впечатление своим, им впервые введенным чтением «что стиха не слышно». Он был великолепный Чацкий, он не «играл», а «читал» Чацкого, но так «читал», что о его игре никто и не думал. Монолог «Не образумлюсь, виноват» вызывал бурю восторга с криками «бис».

П.А. Никитина Москва жаждала, но он упорно в ней отказывался выступать, хотя во время великопостных съездов актерских заезжал, бывал в Кружке, но на все просьбы выступить отказывался, хотя и упрашивали первые персонажи Малого театра, его друзья. Появление его имени на афише, вывешенной в залах Кружка, произвело впечатление.

Свободный день я провел у моих провинциальных друзей и явился в Кружок к восьми часам, ко второму звонку, когда зал был полон и все сидели на местах, боясь пропустить Никитина. Я прошел на свое место. По сцене – разодетые участники: фраки мужчин и открытые платья артисток и пиджаки старшин. На занавеси, как и во всех театрах, посреди сцены была прорезана дырочка, которая необходима режиссеру для сообщения: как сбор, разместилась ли публика, можно ли начинать.

Две дырочки были пробиты в правой кулисе авансцены, где стояли табуретки и стул для помощника режиссера, – мое место в спектакле. Я рассматривал знакомых, которых узнал

в Кружке и знал по провинции. Ко мне подошел П.П. Мещерский, сел на табурет и сказал:

– Ермолова здесь. Я отвел ей кресло, все хотят П.А. Никитина послушать. Собственно, я для нее больше и постарался пригласить Павлика. Он не любит выступать в Москве... Для нее только он и читает. В десять часов прямо из Кружка на поезд, только для нее и остался, уж я упросил.

– Где она?

– А узнайте!

– Вот против меня... Другой такой нет...

Программ печатных не было, и перед каждым выступлением режиссер Карташев анонсировал.

– Павел Александрович Никитин прочтет стихотворение из сборника «Живая струна», – начал он вечер.

Тогда для цензуры не назывались стихотворения, а прямо писали или анонсировали: «из сборника «Живая струна», так как сборник этот был единственный, допущенный цензурой для сцены.

Гром аплодисментов грянул в ответ. Особенно усердствовали провинциальные актеры, товарищи Никитина по сцене, и антрепренеры, съехавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Здесь восседали и казанский антрепренер Медведев, и орловский – Лаухин, и самарский – Новиков, и нижегородский – Смольков, и ярославский – Смирнов, бывший театральный ламповщик, ухитрившийся как-то жениться на дочери ан-

трепреенера и получивший после его смерти театр. Его звали «Потому что да-да-да» за поговорку, которую он повторял то и дело. У него, между прочим, в первый раз выступала М.Г. Савина.

Сидели здесь южные антрепренеры и между ними харьковский Иванов-Палач, безобиднейший человек, прозванный так за то, что это было его единственное ругательство, вырывавшееся у него в минуту крайнего раздражения...

– Палач! Палач! – кричал он на полицмейстера, запретившего какую-то пьесу...

Летом, когда перед спектаклем покажется туча, начинает рокотать гром и грозит дождь, который сорвет сбор, он влезал на крышу театра с иконой молить Илью пророка, чтобы он направил свою колесницу мимо Харькова, а если Илья пророк не слушал и дождь шел, он брал икону под мышку, грозил кулаком в тучи и с привизгом кричал:

– Палач! Палач!

А на другой день Илье пророку в знак покаяния молебен служил.

Первые ряды кресел занимали знаменитости сцены и литературы, постоянные посетители Кружка, а по среднему проходу клубочком катился, торопясь на свое место, приземистый Иван Федорович Горбунов, улыбался своим лунообразным, чисто выбритым лицом. Когда он приезжал из Петербурга, из Александринки, всегда проводил вечера в Кружке, а теперь обрадовался увидеть своего друга, с кото-

рым они не раз срывали лавры успеха в больших городах провинции – один как чтец, другой как рассказчик и автор сцен из народного быта.

Мне Мещерский шепнул на ухо:

– Вот взошла луна золотая.

В этот момент поднялся занавес и показался стройный, высокий, можно сказать, величественный, знаменитый чтец.

Зал гудел и сразу смолк, положительно замер, когда, отвечая на привет легким наклоном головы, чтец остановился рядом с суфлерской будкой. Он на минуту как бы задумался... с чего начать?

– Поля! Поля! – раздался шепот и громче других голос Горбунова, занявшего свое место в первом ряду, между ГН. Федотовой и небрежно одетым маленьким человечком с русской бороденкой, спокойно дремавшим под гул аплодисментов. Это был драматург М.В. Кирилов-Корнеев, автор массы комедий, переводных и переделанных, которые чуть не ежедневно шли и в Малом и в Кружке, и по всей провинции и давали ему большой заработок.

Сам же он всегда был без гроша – раздаст половину, а другую пропьет. А пьян он был постоянно, но всегда тих и безмолвен. Звали его за глаза Кирюшка-Корнюшка, но все любили его. Он напивался молча, придя в зрительный зал, неслышно дремал, а то и засыпал в кресле.

– Поля! Поля! – раскатился знакомый Москве громовой голос. Это гудел трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. Он

сидел в середине первого ряда со своим другом А.Н. Островским, который около гиганта казался маленьким.

Ермолова как раз сидела против меня, левее А.Н. Островского, между косматым С.А. Юрьевым и красавицей Рено, любительницей-артисткой, первой московской красавицей: строго правильные черты лица, глубокие черные глаза и неподвижность классической статуи.

* * *

С благодарной улыбкой взглянул Никитин на Николая Хрисанфовича, поздоровался глазами с Горбуновым и, когда смолкли аплодисменты, четким полусшепотом, слышным во всех концах огромной залы, заявил:

– Поля! Стихотворение Майкова.

И полились чудные слова и звуки, дополняя одно другое, и рисовались ясные образы, рожденные словами поэта и переданные слушателям голосом чтеца.

Я невольно скольжу взором по первому ряду. Но одна Ермолова овладела всем моим вниманием. У Федотовой горят глаза. Недвижная, и одним мускулом лица, может быть думая только о своей красоте, красуется Рено, сверкая бриллиантовой брошкой... А рядом с ней Ермолова, в темно-сером платье, боится пропустить каждый звук.

В телеге еду по холмам,

Порой для взора нет границ,
И все поля по сторонам,
А над полями стаи птиц.

Ермолова – вся внимание. Ее молодое лицо живет полной жизнью и отражает впечатления... Какая-то таинственная грусть нет-нет да и отразится в ее глазах...

И всегда, и впоследствии, до последней моей встречи, я видел эту грусть... Даже в ролях, когда ее голос и вся она кипела могучим, неповторимым призывом, как в Лауренции или в Жанне Д'Арк, я видел этот налет грусти.

Может быть, эти первые впечатления этого вечера оставили в моей памяти то, что поразило меня и осталось навсегда.

Родилась ли она с ней? Залегла ли она в тяжелые дни детства? Дни монологов в одиночестве на забытом кладбище?.. Но и теперь, после ее великой победы – недавнего бенефиса, когда именно жить да радоваться, – я видел отблеск этой таинственной грусти.

Я еду день, я еду два.
И все поля кругом, поля.
Мелькнет жилье, мелькнет едва.
А там поля, опять поля...

Слушая чтеца, думы и воспоминания ползут, цепляются одно за другое и переносят меня на необъятный простор безбрежных золотых нив... И все, кто слушает, видит воочию

все то, что слито поэтом и неповторимым чтецом в мелодию созвучий.

Порой ручей, порой овраг.
А там поля, опять поля...

Я не свожу глаз с Ермоловой – она боится пропустить каждый звук. Она живет. Она идет по этим полям в полном одиночестве и радуется простору, волнам золотого моря коло-сьев, стаям птиц. Это я вижу в ее глазах, вижу, что для нее нет ничего окружающего ее: ни седого Юрьева, который воз-величил ее своей пьесой, ни Федотовой, которая не радуется новой звезде, ни Рено с ее красотой, померкшей перед ней, полной жизни и свежести... Она смотрит вдаль... Видит только поля, поля, поля...

Порой ручей, порой овраг.
А там поля, кругом поля.
И в золотых опять волнах
С холма на холм взлетаю я...

Короткая пауза, и глаза чтеца все так же смотрят куда-то вдаль. Во все время чтения ни малейшего движения, ни од-ного жеста, только лицо и глаза его живут.

Он спокойно передает словами то, что переживает, чув-ствует, ощущает.

Глядя вдаль, он спрашивает:
Но где же люди? – и отвечает:
Ни души среди забытых деревень...

И потом так же спокойно рассказывает о встрече со стариком, который просит его подвезти. Предлагает ему сесть рядом с собой, но тот, бывший барский камердинер, после объявления воли выброшенный наследниками за старостью и недовольный всем, еще помнит барскую дисциплину и, отказавшись, садится рядом с ямщиком на облучок, ворчит и ругает все новое, даже волю.

Отживший мир в его лице.
Казалось, силы напрягал.

Идет разговор со стариком, который кивнул головой на молодого парня-ямщика.

И все мы, зрители, видим и ямщика и старого камердинера.

Глаза Ермоловой опять покрылись дымкой грусти, но это было уже в последний раз.

Сердито бросает старик:
Вот парень вам из молодых...
Спросите их:
Куда глядят? чего хотят?
Парень в недоумении:
Никак желанное словцо

Не попадало на язык...

– Чего?.. – он начал было вслух...

Да вдруг как кудрями встряхнет.

Да вдруг как свистнет во весь дух —

И тройка ринулась вперед!

Вперед, в пространство без конца...

Ермолова откидывается на спинку стула.

Мерцавшие зарницы сменились в ее глазах сверкнувшей молнией, будто она сама мчится на бешеной тройке:

Вперед, в пространство без конца...

А чтец между тем заканчивает:

Неслись! – Куда ж вас дьявол мчит? —

Вдруг сорвалось у старика.

А тот летит, лишь вдаль глядит.

А даль-то, даль как широка!

Зимний сезон кончился. Мне предстояло или остаться в летнем помещении Кружка в Москве, или уехать в Смоленск. И я бы угодил в начавшийся тогда набор добровольцев в Сербию, что наверное бы для меня добром не кончилось, да опять случай подвернулся. Встретил я казака Бокова, с которым я познакомился еще в цирковые времена, и позвал он меня к себе на Дон:

– Степь-то какая сейчас! Потом съездим на Кавказ, надо кабардинских маток купить! Поживем лето на зимовнике.

Неудержимо потянула меня степь-матушка.

Уехали мы со скорым поездом на другое утро – не простился ни с кем, и всю Москву забыл. Да и до Москвы ли! За Воронежем степь с каждым часом все изумруднее... Дон засинел... А там первый раз в жизни синь моря увидел. Зимовник оказался благоустроенным. Семья Бокова приняла меня прекрасно... Опять я в табунах – только уж не табунщиком, а гостем. Живу – не нарадуюсь!

А все-таки иногда жуть берет: вдруг приедут Иловайский, Подкопаев, а то еще, чего гляди, мой хозяин, тоже сосед не дальний, пожалует и признает во мне своего беглого табунщика...

Разыграется фантазия – дойдет до жандарма, который на зимовник приезжал. Но скоро пришел этим думам конец.

Собрались мы с моим другом на Кавказ за лошадьми и покатали. С собой взяли двух казаков – лошадей вести.

А в Кабарде у Бокова знакомства большие, таскают нас как дорогих гостей из аула в аул, устраивают охоты, тамаша. Побывали даже в урусбнях на Эльбрусе, турью охоту горцы нам устроили.

Боков – удалец хоть куда, но и мне почет не малый был: уж очень поразило их мое цирковое искусство, меткая стрельба да знание лошади – опыт прошлого. К горам, которые я впервые увидел, я скоро привык. Надо сказать, что Боков подарил мне еще на зимовнике свою черкеску, бурку, кинжал – словом, одел меня настоящим кабардинцем и сам так же был одет. Боков взял со стены своего кабинета две нарезные

двустволки – охота будет.

Недели три мы гуляли. Наконец Боков зовет домой ехать: – Пора! Скоро дед именинник! Большой праздник будет... Весь Дон съедется! Из Черкаска приедут, а уж соседи и все будут...

И сразу все настроение испортил:

«Узнают, да еще арестуют!»

Я промолчал – и решил удрать дорогой, поближе к Москве, и пристроиться где-нибудь в театре.

Так и решил, а вышло иначе. И хорошо вышло, как уж я после увидел.

На турьей охоте с нами был горец, который обратил мое внимание: ну совсем Аммалат-Бек из романа Марлинского или лермонтовский Казбич. Или скорее смесь того и другого. Видно только, что среди горцев он особа важная – стрелок и джигит удивительный, шашка, кинжал и газыри в золоте.

На тамаше в глухом горном ауле, где была нам устроена охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров, и он больше молчал.

А разговорился он со мной. Оказывается, почти один из окружающих он немного владел русским языком. Его заинтересовали некоторые мои цирковые штуки, и хотя он почти не задавал вопросов, но чувствовалось, что это горская гордость не позволяет ему проявлять любопытство. И я рассказал ему, что я актер, служил в цирке, охотник с детства

и нехотя оставляю Кавказ, да кстати у меня и паспорта нет. Разоткровенничался.

Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключение он сказал:

– Ти мэнэ кунак – я тэбэ кунак! Моя – твоя, твоя – моя!

И запили слова наши бузой.

* * *

Утром мы выехали чуть свет. Моего кунака уже не было, и на вопрос мой, где он, я получил в ответ одно слово: «Ушла».

И больше ничего не мог добиться.

Через два дня, рано утром, проснувшись в Пятигорске, в гостинице, я увидел на стене объявление, что драматической труппой Максимова-Христинича открываются спектакли. И ожил сразу. За чаем я сказал Бокову, что я останусь на несколько спектаклей, а через две недели приеду к нему на зимовник, на чем мы и порешили. В девять часов со случайным попутчиком, офицером, окончившим лечение, Боков поехал в Россию. Я решил проводить друга, а потом идти на Машук, побывать на могиле Лермонтова, моего самого любимого поэта в гимназии, а затем отправиться к Максимова-Христиничу.

Прощаясь еще в номере, Боков взял слово, что если не выйдет с театром, ехать к нему.

Но не пришлось мне ни попасть в театр, ни поехать на зимовник Бокова и, первым делом, не подняться на могилу Лермонтова.

Тут случилось что-то необъяснимое. Я подходил уже к той тропинке, по которой надо взбираться в гору, как послышалась тропота и быстрой ходой меня догоняли три всадника на прекрасных гнедых кабардинках. Четвертую, такую же красавицу, с легким выюком вели в поводу. Первая фигура показалась знакомой, и я узнал моего кунака. За ним два джигита, таких же высоких и стройных, как он, с лицами, будто выкованными из бронзы: один с седеющей острой бородкой, а другой молодой.

Кунак прямо с ходу осадил коня, что сделали, будто по команде, и спутники, остановился и подал мне по-русски руку.

Через несколько минут, шагах в пятидесяти от дороги, в густом кустарнике, мы сидели с кунаком на траве, и я рассказывал ему свои обстоятельства.

– Ва! Мы кунаки! Мои деньги – твои деньги, мой лошадь – твой лошадь! – И предложил мне гулять с ним, пока я хочу. – Охотиться будем... Туда-сюда поедем. Хорошо будет.

Он мне говорил «ты», и я ему тоже.

– А как тебя звать? – спросил я.

Шевельнул он правой рукой, и вмиг вырос перед нами

один из джигитов, который постарше, и он ему что-то сказал.

– Ага²! – и еще несколько непонятных мне слов, приложив руку к голове и сердцу, произнес джигит.

– Ага! – отозвался ему громко мой кунак и при этом сделал такой жест ладонью, будто отрубил что.

– Ага, и больше ничего. Тэбэ я – кунак, им Ага. – Джигиты разостлали перед нами бурку, вынули из переметной сумы сыр, чурек, посудину и два серебряных стакана. Я залюбовался его лошадю: золотисто-гнедая, с белой звездочкой между глаз и белой бабкой на левой ноге. Лошади с такой приметой ценятся у восточных народов: на такой Магомет ездил. Я молча созерцал красавицу, а он и говорит:

– Это мой лошадь, а это твой, тэбэ дару!

И опять незаметный жест правой рукой, и старый джигит вмиг развьючил лошадь – под буркой оказалось серебром отделанное седло с переметными сумами. Остальной выюк они распределили на своих лошадей и по знаку Аги положили передо мной в чехле из бурки коротенькую магазинку винчестер.

– Это тэбэ!

Во выюке еще остались две такие винтовки в чехлах. В первый раз в жизни я видел винчестер, и только через год с лишком много их попадало мне в руки на войне – ими были вооружены башибузуки.

– Хаирбулсын кунак! – искренне поблагодарил я его за

² Ага – начальник.

подарок, пока единственным словом приветствия, которое слышал... Я любовался своей лошастью и радовался винтовке. Все это понравилось кунаку. Он приветливо улыбнулся и спросил:

– Едим?

– Едем, – согласился я.

– Едим!

Больше нечего было ответить. Спросить куда? Оскорбить кунака недоверием или, что еще хуже, показать свое любопытство.

И я улыбнулся, любуясь конем, и сказал еще раз:

– Едем!

А почему я улыбнулся? Да потому, что мне при этом пришла в голову старинная поговорка: «Ехать так ехать, сказал попугай, когда его тащила кошка из клетки».

* * *

– Ты в городе не оставил каких-нибудь писем или бумаг?

– Только бурку.

Опять мигнул пальцем правой руки, и старик отторочил от седла легкую, как пуховое одеяло, бурку.

По каким только горным тущомам мы не ездили! Каких людей я не насмотрелся! Каких приключений не было! Все-му этому будет, может быть, свое время, а пока я знаю, что благодаря этим встречам я не попал в Сербию, что непременно бы случилось, если б я вернулся в театр или попал на Дон.

Нальчик, столицу Кабарды, мы незаметно миновали поздно вечером. Проехали мимо лежащего рядом с Нальчиком Большого аула, где для местных князей светил огнями и гремел шумом тамаша, и заночевали в отдельной легкой постройке, кунацкой, на широких низких скамьях, обитых коврами. Огня не зажигали и перед рассветом выехали в путь, в страшное ущелье, которое перед нами зияло.

Вспоминаю Лермонтова:

Как трещина, жилище змея...

И действительно, бурно вьющийся излучинами Черек был этот бешеный змей, вырвавшийся из ледников Каштан-тау. Около полусотни километров сверкала изломами узкая трещина, и на всем ее протяжении не живет ни одного человеческого существа... Только там, под ледниками, на другом берегу Череха, лепится к скалам заоблачный аул Безен-

ги, а там, за ним, две вершины неведомого Каштан-тау, по обе стороны которого снега горного хребта и будто бы перервал, исстари известный в этом единственном в этих горах ауле под названием «Магометова дорога».

Должно быть, потому, что по ней, кроме Магомета, да и то по древним преданиям, никто не ходил... Да, как я уже после узнал, она была известна моему кунаку Аге и его джигитам, составлявшим как бы часть его.

Восход солнца мы встретили на конях, в ущелье.

Еще в самом начале, около Большого аула, где мы ночевали, были еще кое-какие признаки дороги, а потом уж мы четверо, один за другим, лепимся, через камни и трещины, по естественным карнизам, половиной тела висая над бездной, то балансируем на голых стремнинах, то продираемся среди цветущих рододендронов и всяких кустарников, а над нами висят и грабы, и дубы, и сосны, и под нами ревет и грохочет Черек, все ниже и ниже углубляясь, по мере того как мы поднимаемся.

Вырываются из-под ног огромные дикие индейки джостухи, звенят, вырываясь из кустов, фазаны, и дорога оглашается пением птиц... Высоко над нами парят огромные беркуты, носятся соколы. Раз медведь перелетел через нас. Да, я не шучу. Несчастный бурый, облезлый мишка высоко над нами пробирался по висевшим над бездной корням деревьев. Я было начал снимать винчестер, как вдруг раздался страшный рев, треск – и бедный, оборвавшийся зверь вместе с ку-

стом, в клубах пыли сверкнул мимо нас, перелетел через нашу тропинку и загромыхал в бездну, где шум падения был заглушён ревом Черека. Ни Ага, ни его спутники не обратили на это никакого внимания, и лошади спокойно продолжали лепиться по неровному карнизу, хотя падение было в нескольких шагах впереди нас.

– Нас пугался, маладая, – людей не видал, – пояснил мне Ага.

Это была одна из десятка фраз, слышанных мною за время нашего пятидесятикилометрового подъема до самой Чертовой лестницы, где ни один русский, ни один европеец до меня не бывал.

* * *

Вскоре за падением мишки мы сделали привал на довольно широкой горной долине, посредине которой – красота незабываемая – голубело перед нами довольно широкое озеро, голубое, как сапфир на солнце. На земле такого огромного правильного пространства голубого я никогда не видал: будто кусок прозрачного неба каким-то чудом лежал перед нами в этой каменной трещине, среди нависших скал. Но не только небо голубело, в нем сама вода оказалась голубая. Ага молча взял два больших белых камня и бросил в воду. Они из белых стали сразу темно-голубыми, синели и пропали в глубине темно-синими. Кругом пахло серой. Нукеры выну-

ли из переметных сум холодную жареную баранину, чуреки, козий сыр, большие тыквенные горлянки с бау-бузой, этим чудным хмельным, чисто кабардинским напитком из меда и пшена, и две старинные серебряные стопы с персидским рисунком. Чудную голубую воду пить было нельзя – она пахла серой...

Ага пояснил мне, что дальше есть еще такие озера.

И действительно, оказалось выше, одно над Другим, на протяжении нескольких километров три голубых озера с еще более сильным запахом серы...

Кончились горные поляны – и снова отвесные скалы с непроходимыми висячими кустарниками и узкими карнизами, иногда загроможденными камнями.

Наконец и этот путь прегражден: наша тропинка слева, так же как и все время пути, жалась к каменной скале, закрывавшей от нас небо, а справа кустарник. Мы прямо уперлись в скалу. Дальше некуда.

Ага, не останавливаясь, у самой скалы, загромоздившей нам путь, свернул молча, как всегда, направо в кустарник – и перед нами открылась бездна Череха с висящими стремнинами того берега. Он остановил лошадь, обернулся ко мне и, указывая вниз, объяснил, что «пайдем вниз, там мост, а там», указывая в небо, выше противоположной стены берега, – там и аул Безенги. Стал спускаться, откинувшись телом назад и предоставив лошади свою жизнь и дав ей полную свободу.

Это пострашнее, чем весь наш подъем. Но я знал, что лошадь горная не выдаст, а наши лошади, принадлежащие Аге, были именно такие, какие были необходимы этому удивительному горцу, окутанному непроницаемой тайной.

Глядя на его покойную фигуру, на молчаливых горцев, его нукеров, я чувствовал себя спокойным – да, собственно говоря, чего мне было бояться? Для кого мне себя беречь? А такая прогулка интересна, да еще впереди увлекательная охота на туров, новые места, новые люди и неизведанные ощущения. Нет, надо пользоваться случаем – едва ли что-нибудь более смелое и красивое повторится в жизни... А тут еще живы в глазах голубые озера, еще галлюцинация обоняния сохранила серный запах, а внизу с каждым шагом все яснее и яснее шум Черека!

Вдруг ясно услышал я блеяние, хотел остановить лошадь, но чуткий Ага не допустил меня окриком:

– Коша!

И в тот же момент сквозь раздвинутый его лошадью кустарник я увидел под нами полянку, а на ней стадо коз.

По примеру Аги мы остановились. Он перекинулся словом с пастухами. Они бросились к козам и через минуту надоили и подали ему и мне по чашке ароматного, густого молока. Это было и лакомство и оживило меня. Нукерам тоже дали после нас по чашке, и мы двинулись. Ага бросил мальчуганам горсть серебра, и те молча ему кланялись, прикладывая руку то ко лбу, то к груди. Полянка кончилась, а Че-

рек ревел все сильнее и сильнее. Вот уж он виден, весь белый от пены, мчавшейся непрерывным, курчавым взметом на узком пространстве между берегами. А вот и мост висит через пропасть.

Удивительный мост! Будто оторвали дно от плетеной корзины, увеличили его в сотню раз, перекинули каким-то чудом через огромный пролет и сверху наложили еще несколько таких же днищ... Внизу, глубоко под ним, ревет, клубясь белой косматой пеной, река, в которой воды не видно, – пена, пена и пена и облака брызг над ней.

Запах раскаленного кремня сменился приятной влажностью. У самого моста Ага, не оглянувшись даже на нас, спрыгнул на камни и, перекинув во всю длину повод через голову коня, взял его конец в левую руку и пошел по зыбкой плетушке.

Я вмиг повторил то же, что и Ага, и, перекинув повод, двинулся на мост. Но передо мной вырос старший джигит и парой непонятных слов, без всякого выражения на своем каменном лице, движением руки, ясно дал мне понять, что надо сперва пропустить первого, а потом идти одному, а там, мол, за тобой и мы поодиночке переправимся.

Когда Ага входил на противоположный берег, он рукой сделал мне знак – иди!

Я вступил на зыбучий плетень без всякого признака перил. Мне жутко показалось идти впереди коня с кончиком повода в руке. То ли дело, думалось, вести его под уздцы,

все-таки не один идешь! Но было понятно, что для этого удобства мост был слишком узок, и я пошел самым обыкновенным шагом, не тихо и не скоро, так, как шел Ага, и ни разу не почувствовал, что повод натянулся: конь слишком знал свое дело и не мешал движению, будто его и нет, будто у меня один повод в руках.

Я знал, что в таких переправах нельзя смотреть вниз, особенно здесь, на грохочущие буруны, но приходилось смотреть под ноги, того и гляди запнешься за торчащую ветку или нога попадет на какую-нибудь неровность забившегося подо мной всячего пути.

А Черек будто переливался под нами, то под двумя моими ногами, то под четырьмя ногами лошади. Впереди, на том берегу, недвижимой статуей стоял красавец Ага, блестя золотым кинжалом на темной черкеске, смотря куда-то вверх по течению так, что глаз его я не видел. Это опять-таки прием бывалого горца: не мешать человеку своим взглядом. И это я понял, когда остановился рядом с ним, когда перешел уже в полном покое и сказал ему, радостно улыбаясь:

– Хорошо здесь!

– Джигит! – ответил он, улыбнулся мне, показав белые ровные зубы из-под черных усов, и поправил рукой выбившуюся челку моей лошади. – Джигит! – еще раз похвалил меня и, кивнув головой кверху, сказал: «Там»!

Нукеры перешли, осмотрели подпругу моего коня, и через минуту мы двигались в том же порядке вверх по течению,

лепясь по узенькой тропинке, протоптанной козым стадом на полотне каменной осыпи от отвесных скал к руслу Черека.

Дорожка зигзагами опускалась ниже, к воде, и скоро мост уже был высоко за нами. Спускаться было нелегко, осыпь, миллионы мелких осколочков выветрившихся скал сплошь сползали под ногами, лошади со всадником приходилось делать много усилий, чтобы не сползти вместе с осыпью. Буруны пены были как раз под нами, и некоторое время лошади шли по мокрой осыпи, и нас слегка приятно охлаждало туманом мелких брызг.

Черек ревел оглушительно, кувыряя камни. Путь пошел кверху. Ага прыгнул с лошади, перекинул через голову коня повод. Повторился переход по мосту. Но здесь идти было физически трудно: мелкий камень осыпи рассыпался и полз, а с ним ползли ноги в мягких чувяках.

И вот, представьте себе, держа в руках повод, который ни разу не натянула лошадь, справлявшаяся с осыпью лучше, чем нога человека, этот свободный повод был моей поддержкой, и я чувствовал с ним себя покойным. Может быть, потому, что рукам дело было? Правая с нагайкой – баланс, левая – поддержка.

Через много-много лет, уже в начале этого века, я высоко над Москвой испытал подобное чувство еще ярче. Знаменитый тогда мой старый друг и ученик по гимнастике авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на Ходынке на неуклюжем своем «фармане», напоминавшем торго-

вый балаган с Сухаревки. Впереди – отгороженное место авиатора, сзади – совсем не отгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек, табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полотьям – основанию аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом, с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве, в виде опыта, предложил мне подружески Уточкин... Потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной Ходынке. Вдруг – чувство, что сердце встало и дыхание захватило: я оторвался от земли! Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде, при подъеме на аэростате, но эта ужасная табуретка! Но эти – еще ужаснее – проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе! Подомной скачки... Я вижу толпы на трибунах. По зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой. А все-таки жутко... Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам.

И вдруг я нащупал в кармане табакерку, о которой забыл

в тревоге полета.

И ожил! Вынул ее. Сжал в руках и чувствую, что держусь за что-то прочное, – и о проволоках забыл! Забыл о своей боязни, открыл, с величайшим наслаждением понюхал – и все время играл этой табакеркой, думая только, как бы не уронить ее, до тех пор пока опять не запрыгали колеса по земле и я не стал на твердую землю.

* * *

Подъем все продолжался... Только раз я почувствовал повод. Это на миг лошадь поскользнулась. Перед нами пещера в скале. Сверху рядом мелких каскадиков струятся ключи. Ага остановился, сказав, что надо отдохнуть – дорога будет трудная. Через минуту мы и лошади наслаждались великолепной холодной водой, может быть, бегущей из ледников Каштан-тау.

Все дно пещеры усыпано было гольшами, какие попадались иногда и в осыпи, только здесь они поразили меня удивительными своими формами. Это был сыроватый известняк, которому, может быть, сотни тысячелетий придали совершенно правильные и причудливые формы, выточив, как самый лучший токарь, то в виде гитары, то круглым пирожком с правильными выпуклостями сверху и снизу, то полумесяцем, то фигурой человека на одной ноге – самые разнообразные формы, и на всех камешках следы вращательного

движения – круговые полосы.

* * *

Голубые озера, причудливые камешки в каскадах пещеры и наконец я сам, как живой, перед собственными своими глазами, на розовом фоне позолоченных утренней зарей снегов. Чуть розовеет заря. Бездны еще хранят мрак ночи. Я пробираюсь с винтовкой наготове по турьей тропинке, по которой стадо должно возвратиться с ночного пастбища на недостигаемые выси ледника. Туман то розовел, то сгущался... Я остановился, прислушиваясь, и вдруг передо мной, над зияющей подо мной черной пропастью, появляется гигантская фигура человека, как бы парящего в воздухе. Я уже ясно вижу папаху, руку, опершуюся на винтовку, даже ногу, отставленную на камень...

Сердце захолонуло. Я все забыл: где я? что я? Я вижу себя стоящим в необъятном просторе: мрак бездны глубоко внизу, розовое золото двух снеговых вершин над моим, гигантских размеров, вторым я. Стою, не в силах пошевелиться. Второй я зачаровал меня, поглотил весь мир. Он начинает бледнеть и как будто таять.

Грянул выстрел, загрохотали горы, стадо обезумевших туров на миг сверкнуло надо мной по стремнинам...

Недостигаемые вершины таинственного Каштан-тау загорелись сплошным розовым алмазом в лучах невидимого еще

солнца. Передо мной сверкнул огненными глазами не менее таинственными, чем Каштан-тау, мой кунак и с улыбкой указал на повисшего на скале убитого тура.

О турах я читал в естественной истории еще гимназистом, а об охоте на туров я слышал тогда же от друга моего отца, от старого и знаменитого на всю Вологодскую губернию охотника Ираклиона Корчагина, в кабинете которого среди всевозможных охотничьих трофеев, вплоть до чучела барса, убитого им в молодые годы во время службы на Кавказе, были еще два огромных турьих рога, один как есть натуральный, а другой в серебре, служивший кубком. В него входило больше бутылки вина – и много удовольствия он доставлял своему владельцу. Когда на праздниках к нему съезжались гости, все хорошо уже изучившие этот кубок, а между ними являлся кто-нибудь новый, то ему за обедом подносили этот рог, наполненный или легким вином, или прекрасным домашним пивом. Помню, в Ильин день, при мне, обедал у него в числе гостей гвардейский офицер, хваставшийся, что он всех перепьет. Ему Ираклион налил по его выбору лафита.

Поднявшись во весь свой громадный рост, гвардеец захотел щегольнуть перед старыми охотниками-питухами – выпить залпом, приложил рог к губам и лихо опрокинул его...

И все содержимое хлынуло на грудь, и белый китель стал красным.

Общий хохот. Страшно рассвирепел гвардеец, запахло ду-

элью, но все гости успокоили его, что, мол, все это с ними было, а сам Ираклион налил в кубок тоже лафита и показал, как надо пить. Он приложил кубок к губам и, почти не поднимая, стал его слегка повертывать, отпивать понемногу и, не отрываясь, закончил все.

И десятки лет спустя этот случай меня выручил. Мне на Кавказе поднесли турий рог с кахетинским, тоже в надежде поглумиться, но я вспомнил Ираклиона и выпил кубок под пение «Мраволжамиер» и аплодисменты.

Это было уже тогда, когда я повидал туров на заоблачных стремнинах Чеченских и Балкарских и под ледниками Эльбруса.

Я увидел их возвращающихся в свои неприступные ледники с водопоя и пастбища по узкому карнизу каменных скал. Впереди шел вожак, старый тур с огромными рогами, за ним поодиночке, друг за другом, неотрывно все стадо. Вожак иногда пугливо останавливался, поднимал голову, принюхивался и прислушивался, и снова двигался вперед. Стадо шло высоко надо мной и неминуемо должно было выйти на нашу засаду, так как это единственная тропа, исключительно турья, снизу на ледник, где они должны быть при первых лучах солнца.

И видел я это стадо, перелетающее семифутовую бездонную трещину вслед за своим вожаком, распластавшимся на секунду в воздухе, с поджатыми ногами и вытянутой шеей, и ни секунды не задержавшимся на другой стороне трещины:

он не перелетел, а скользнул через пропасть и исчез за скалой. И все стадо, все пятнадцать рыжих красавцев скользнули за ним, смело и уверенно, почти ровной гирляндой: еще не успел первый оставить точку опоры, как за ним летит следующий, на секунду займет место первого и вмиг исчезает... Так все один за другим! Картина неопишемая...

И наши винтовки молчали, потому что бесцельно было убивать над пропастью, недостижимой для человека, и, кроме того, мы знали, что через несколько минут все стадо поднимется к нам, на свой обычный путь... Мы знали, что чуткий вожак не ожидает нашего присутствия, так как ветер дул не от нас, а снизу, откуда шли туры... И вот они так же степенно, в сотне шагов от нас идут вереницей, но стрелять нельзя: убьешь на узком карнизе – упадет в пропасть. Мы ждем, пока они выйдут на широкую площадку, вдавшуюся в глубь скал, изрытых пещерами. А за площадкой тропа переходит опять на узкий карниз, вплоть до ледника, порозовевшего уже на короне от лучей восходящего солнца.

Вместе с первым лучом переменился ветер. На секунду остановился вожак и стремглав ринулся вперед: тур почти никогда не возвращается назад – другого пути на родной ледник нет.

С быстротой метеора мелькнуло мимо нас стадо... Грянули выстрелы почти залпом, а потом еще четыре из наших винчестеров поодиночке, чтобы добить двух подранков. Остальные исчезли за углом скалы быстрее выстрелов ма-

газинки. Охота была великолепная: четыре красавца козла лежали на камнях. Пятый, раненый, должно быть, слетел в пропасть и исчез из глаз в густом кустарнике на страшной глубине... Доставать его – и думать нечего.

Вот тут-то в первый раз я и осмотрел тура. Вожак был ростом с годовалого теленка; огромные рога говорили о его почтенных годах. Он был темно-бурый, шерсть грубее, чем у остальных, грива гуще. Золотая на поднявшемся из-за гор солнце, они очень были похожи на рыжих светлобрюхих телят, только хвост, как у козы. И странно – копыта у них не жесткие, несмотря на то, что они вечно на камнях, а какие-то упругие, будто из твердой резины. Осмотрев эластичные раздвоенные копыта, я понял удивительный прыжок-полет через пропасть.

* * *

Рога вожатого имели поперечные ребра необыкновенно толстые. Глядя на них, можно было действительно поверить не раз слышанной даже от кавказских охотников легенде, что старый тур в минуту опасности бросается с огромной высоты, падает на рога и встает невредимым. Может быть, действительно таково их устройство, что оно распределяет и ослабляет силу удара? А эти парные поперечные ребра рога сломаться ему не дадут.

Одно мне пришлось наблюдать во время моих горных

скитаний: я видел, как тур пробирался по отвесной скале и время от времени упирался рогом в стену, а иногда, должно быть, уж в очень опасных местах, то наклонял, то поднимал голову, то вытягивал шею. Что рога ему служат балансом и поддержкой, это ясно.

И еще ясно, – что это его краса и рыцарские доспехи. Горные пастухи и старые охотники видели драки каменных козлов на их турнирах из-за обладания самкой.

* * *

Москва в первый раз увидела туров в восьмидесятых годах. Известный охотник городской инженер Н.М. Левачов, тот самый, который очистил Авгиевы конюшни Неглинки, основав Русский охотничий клуб, поехал на Кавказ охотиться под Эльбрусом и привез трех красавцев туров, из которых препаратор Бланк сделал великолепные чучела. Они и стояли в первом зале Охотничьего клуба вплоть до его закрытия уже после Октября. Но видеть их могли только члены и гости клуба.

Остальным москвичам приходилось знакомиться с турами в шашлычной Автандилова, заказавшего какому-то кавказскому предшественнику Коненкова вырубить и вырезать из одного куска граба большого тура на скале, который много лет, как живой, красовался в его заведении. Под ним нередко сиживал с друзьями Василий Осипович Ключевский, люби-

тель выпить стакан доброго розоватого «Карданаха» и съесть шашлык из настоящего карачаевского барашка.

Остальную Москву знакомил с туром грузинский винодел, тифлисский мещанин Сараджев, у которого такой же деревянный тур стоял в его московском складе на Лубянской улице. Над дверями склада по сторонам вывески были изображены два красных тура, и, кроме того, на всех его бутылках с настоящим виноградным коньяком и ликерами на виноградном спирте всегда изображался тур. Эта его торговая марка известна была всем питухам, которые требовали, приходя в винный магазин, «козла с тремя звездочками», и им торговец молча подавал сараджевский коньяк.

«До козла допились!» – ходила еще поговорка.

Конечно, все это я узнал много после, а в то время смотрел, как три горца, проводники ишаков из аула, где мы оставили лошадей, потрошили туров.

Ага дотронулся до моей руки мизинцем – он не любил лишних слов – и указал на самый верх скалы по другую сторону ущелья.

Там, освещенный солнцем, виднелся огромный орел-стервятник, а над ним высоко-высоко кружил в воздухе еще один.

Указал Ага и молча стал перебирать четки. Это его любимое развлечение. Ни он, ни его джигиты, ни я – никто из нас не курил.

* * *

Какой беспроводный телеграф у грифов? Появилась еще пара и кружила над нами...

С одного тура наполовину сняли шкуру. Вырезали «суку», по-местному филей, и разложили костер для шашлыка. Этим занялись наши джигиты. Дрова предусмотрительно были привезены на осликах и свалены в довольно большой пещере, где стояли ишаки и где ночевали их вожатые. Это одна из пещер, которые служат гнездилищем для джостух и курочек – здесь они всегда выводят детей, здесь же ютятся в холодные, снежные зимы вместе с ними и туры. Они спускаются сюда с ледников и находят себе уют и питание: птицы им запасают корм – благодарные туры поедают собираемые на гнезда травы и ветки. Во время горных метелей и невыносимых морозов, не будь этих пещер, туры были бы обречены на гибель, и, в свою очередь, птицы голодали бы, если бы не кормили своих гостей, желудки которых отлично переваривали сухие ветки и бурьян.

* * *

Прошло около двадцати лет. В обманчивых снегах таинственного Каштан-тау погибли первые его исследователи –

два англичанина и два проводника-швейцарца. Приезжавшие на розыски погибших из-за границы не нашли никаких следов. В 1889 году розыски продолжались.

Я приехал в Нальчик с женой и дочерью отдохнуть на лето, завел кунаков среди балкарских горцев и отправился с двумя из них к ним в гости, в их почти недоступные аулы.

Знакомое мне ущелье Черека уж стало не то: вместо головоломного карниза, по которому мы тогда бедовали, проложена дорога, по которой ездили арбы. Кое-где рабочие разделявали дорогу. В том самом месте, где мы тогда остановились перед скалой, заградившей путь, стояла рабочая казарма и жил инженер.

Скала была взорвана, и в пещере находился склад пороха и динамита. Дорога пока дошла только до этого места. Мы спустились к Череку, к мосту по «чертовой» лестнице, по отвесу, не тронутому инженерами. На том же месте стадо коз. Такой же мост из прутьев. Тот же подъем по осыпи, по тропинке, ведущей в Безенги, к леднику у Каштан-тау. Горцы сказали мне, что как начали прокладывать дорогу, так туры исчезли. С той поры не был я в тех краях. Не был я там, где в 1876 году в последний раз видел моих таинственных спутников. В последний раз помню перед своими глазами плавные движения правой руки Аги с его толстым серебряным перстнем на большом пальце. Кольцо очень толстое, в виде веревки, с поперечными золотыми насечками. Меня всегда интересовало, почему он носит кольцо на большом пальце,

но я, по обыкновению, не спрашивал его, а узнал через много времени, увидав стариков-горцев, носивших так же кольца.

Это старинная черкесская мода: у кремневых ружей были такие маленькие и тугие курки, что их без кольца трудно было взвести. Ружья стали Другие, но мода перешла к детям. Потом я сам некоторое время щеголял старинным бронзовым кольцом на большом пальце, которое и подарил В.Е. Шмаровину, московскому собирателю редкостей.

Помню я плавные движения руки моего кунака в этот яркий солнечный день на грани ледника, по которому шла тропинка перевала.

Под нами был весь Кавказ с его снеговым хребтом, с пропастями, стремнинами, пиками, а ниже – с курчавой зеленою лесов. Вдали юг и восток были закрыты туманами, и Черное море сияло, как эмаль, а на севере пестрели леса, плавни, степи, беспредельные, местами подернутые мглой...

За солнечным днем наступила ясная морозная ночь, безмолвная, как и мои спутники. *Я долго не спал*, бездумно любуюсь заоблачными пейзажами, где чередовался блеск снега с мраком пропастей. Надо мной особенно ярко горела звезда – я только что ее заметил и сразу перенесся в Москву. Вот я на Театральной площади, передо мной вышла из кареты девушка, мелькнуло ее улыбающееся личико, розовое на ярком солнце, и затем она исчезла в двери Малого театра... Опять я вижу серые валенки, опять я чувствую, прямо вот чувствую, ласковую руку Мещерского у себя на плече и

сквозь сон слышу его слова о Ермоловой:

– Это восходящая звезда...

В полудремоте я любовался чудесными картинами... и проснулся: ничего не вижу, кругом грохот, меня подбросило, и я куда-то полетел.

В первый раз я очнулся в дымной сакле. Я лежал на полу на бурке и не мог пошевелиться – все болело. Седой черкес с ястребиным носом держал передо мной посудину и поил меня чем-то кислым, необыкновенно вкусным. Другой, помоложе, весь заросший волосами, что-то мне говорил. Я видел, что он шевелит губами, ласково смотрит на меня, но я ничего не понимал и опять заснул или потерял сознание – сам не знаю.

С каждым днем я поправлялся. Кроме парного молока, я ел шашлык из козленка с горячими чуреками, которые пек молодой черкес и еще два его пастушонка. Они пасли стадо на этом коше в жаркие месяцы.

Старик, который ухаживал за мной, оказался доктором. Он тоже черкес, как пастухи и мои кунаки. Он объяснялся со мной только знаками, мазал меня, массировал, перевязывал, и, когда я обращался к нему с вопросами, он показывал мне, что он не понимает и что говорить мне вредно. Это он показывал так: высовывал язык, что-то болтал, потом отрицательно качал головой, ложился на спину, закрывал глаза, складывал руки на груди, представляя мертвого, и, показывая на язык, говорил: – Юклайка!

Это значит – умрешь, если будешь говорить. И все заставлял пить парное молоко. Я уже начал понемногу сперва сидеть, потом с его помощью вставать и выходить раза два в день из сакли, посидеть на камне, подышать великолепным воздухом, полюбоваться на снега Эльбруса вверху и на зеленую полянку внизу, где бродило стадо чуть различных коз.

Через неделю еще я уже выходил сам, спускался вместе с ним к стаду, пил там обязательно парное молоко и возвращался обедать – кисленький суп из вареного козленка, а потом уже и шашлык.

Я поправлялся и креп с каждым днем. Одно меня мучило: где мой кунак и как я попал сюда? Я это узнал, когда уже почувствовал, что ничего у меня не болит, слабость проходит, головокружение не повторяется и мускулы вновь налились и стали твердыми.

После утренней прогулки к стаду мы поднялись по козьей тропке на скалу, к которой прилепилась, служа продолжением пещеры, наша сакля. Мой старик показал мне на север, где в пролетах между ледниками зеленели леса и далеко за ними маячила степь, своей дымкой сливаясь с горизонтом. Похлопал он меня по плечу; его строгие глаза развеселились, ястребиный нос сморщился, и все лицо осветилось улыбкой:

– Теперь ты совсем здоров и можешь говорить и слушать.

Я прямо ошалел и смотрю на него с раскрытым ртом.

– Не удивляйся, что я так хорошо говорю по-русски, – в молодости я долго жил в Тифлисе, там изучил вашу меди-

цину, прибавив ее к своим горским знаниям. Мой отец тоже лечил своих.

А я все молчу – слушаю.

– Успокойся и слушай. Конечно, первое тебе интересно, где твой кунак?

– Да, но я больше удивляюсь...

– Никогда ничему не удивляйся. Мне твой кунак все рассказал о тебе и сказал, что надо. Тебе он кунак, а мне и всем нам он Ага – начальник. А ты его кунак, друг навек, и мы должны тебя беречь, как его брата.

– А где он? Жив?

– Да, теперь уж он у себя на Ингуре, туда он тебя вел, в свои аулы, в свои леса, где у него дом. Вот только обвал вас разлучил... Тебя сбросило вниз, а они уцелели. Тебя перенесли на этот кош, а сами через перевал ушли. Ты лежал без памяти.

Ага послал за мной в мой аул, на Баксан. Он наш начальник. Вот все, что я могу тебе сказать. Он приказал тебя беречь и доставить в Россию. Еще предупреждаю тебя, что не показывайся в тех местах, где тебя видели с ним. Теперь его ищут, а если бы поймали, – казнили бы. Мне он говорил, что ты тоже от начальства русского прячешься. Вот поэтому он и велел тебя беречь. Я тебя сведу в степь к моим кунакам молоканам на хутор – там ты будешь в безопасности.

Я слушал как зачарованный.

– Меня зовут Самат.



Когда мы пообедали чихиртмой из дикой индейки, которую раздобыл пастушонок, и остались вдвоем в сакле, Самат вынул из кармана кожаный мешочек с ремнем и отдал мне:

– Здесь десять золотых и сто рублей бумажками – это тебе Ага на дорогу и на платье. Придется переодеться, может быть. Завтра я тебя выведу. Вот и все.

Я не знал даже, что ответить. Первое, что вышло:

– Милый доктор! И вы и Ага чудные люди, но какие разные! Он все молчит, слова не скажет, вы разговорчивый.

– Во-первых, это потому, что я доктор, долго жил с русскими. Ага же лицо очень важное, и ему приходится молчать и по своему положению и чтобы не сказать чего не надо. Больше я о нем не скажу ни слова.

Через три дня я был на коше у молокан, где Самат оказался своим человеком, и меня приняли как родного. Винтовку и почти сотню патронов я подарил старому молоканину – и радость его была безмерна: у них была одна гладкостволка, связанная проволокой. Самат, расцеловавшись со мной по-русски, исчез навсегда. На мои излияния чувств за спасение жизни и за все сделанное мне он ответил одним словом, уже на дороге, крепко пожав руку:

– Ага – твой кунак!



Между Большими Балканами с севера и Малыми с юга, защищенная от ветров, на десятки километров вдоль и километров на семь в поперечнике тянется знаменитая болгарская Долина роз, сплошь покрытая розовыми полями. В них вкраплены фруктовые сады, и весной эта единственная в мире долина удивляет глаз непрерывной розовой пеленой под самым горным хребтом Больших Балкан.

Холодным ветрам доступа нет. Теплый, нежный сквознячок вдоль долины, напоенный ароматом роз, обвеваает небольшой городок Казанлык, весь пропитанный розовым маслом. Главный промысел жителей – добывание розового масла, а богатство города – торговля им. Почти рядом с городком, вся в розах и садах, – большая деревня Шипка, а от нее поднимается дорога на Орлиное Гнездо, высшую точку Шипкинского перевала. Это и есть именно та самая Шипка, изображенная художником Верещагиным, – три солдата, занесенные снегом, и надпись: «На Шипке все спокойно».

В сентябре 1902 года Болгария праздновала двадцатипятилетний юбилей Шипки, на который были приглашены русские гости, участники шипкинских боев. Праздник прошел блестяще. Маневрами были повторены все главные сражения, точь-в-точь как они были тогда.

Празднества закончились парадом на Шейновском поле.

Тысяча народу кругом. Доисторические курганы, тянущиеся линией между Большими и Малыми Балканами по знаменитой Долине роз и Шейновскому полю, представляли собой огромные букеты цветов. Жаркий солнечный день – все в цветных шляпках и платьях, дамы с букетами цветов и пестрыми зонтиками, военные гости в белых фуражках.

Я ходил и щелкал моим большим кодаком, увековечивая эту интересную картину и типы. Снял одного старого отставного фельдфебеля в мундире того времен и.

– Ну что, – спросил я его, – переживаешь приятные воспоминания?

– Всяко бывало... А вот в этом городишке, – указывает на Казанлык, – после боя наш батальон ночевал. Когда мы встали на другой день, так солдаты натащили кувшины с розовым маслом и давай сапоги мазать...

В стороне от кургана одиноко стоял могучий и бодрый высокий старик. Его седая густая борода серебрилась на солнце и, расчесанная волосок к волоску, лежала на широких лацканах английского пальто. Что-то близко знакомое сверкнуло мне в этой стройной, энергичной фигуре и в его глубоких темных глазах, ласково взглянувших из-под седых бровей. Он поднял руку и, сделав отрицательный жест, сказал довольно чисто по-русски:

– Меня не надо, пожалуйста, не надо!

– Хорошо, не буду, если не хотите.

– Да, я не люблю этого. Никогда моего портрета не было

и не будет.

Я убрал аппарат, и мы пошли к другому кургану. Я заинтересовался, почему он так хорошо говорит по-русски, и узнал, что он долго жил на русской границе. Мы разговорились о многом, и он мне рассказал следующее:

– Двадцать пять лет я не был здесь, и опять уеду отсюда. Так, приезжал посмотреть на знакомые места. С вами первым разговорился и больше ни с кем говорить не буду. Тогда я был в войске Сулеймана-паши, и вот здесь, – он указал себе под ноги, – здесь, на этом самом месте, я ел землю.

И он мне весьма поэтично нарисовал картину удивительную!

Сулейман-паша во что бы то ни стало хотел взять Шипкинский проход и завладеть отвесными скалами Орлиного Гнезда. Это было подвигом невозможным! Тогда упорный Сулейман вызвал три тысячи охотников для этой цели и «заклял» их.

Это было ночью. Три тысячи, и в числе их мой собеседник, стояли вокруг кургана.

Сулейман, весь в белом, встал на самом верху кургана, совершал богослужение и заклинал их.

Картина восхитительная: ночь, тишина, вдали огоньки бивачных костров, а на вершине кургана, перед упавшими ниц героями, белая фигура с воздетыми к небу руками произносит страшные заклинания.

И взял он с охотников клятву, что ни один из них не оста-

нется в живых, если не будет на вершине Орлиного Гнезда, а кто не будет там да уцелеет, тот будет проклят.

И поклялись все охотники умереть или достигнуть недоступной вершины каменного Орлиного Гнезда, – и ели землю...

И пошли они на другой день на штурм, и осталось от трех тысяч около сотни...

– И вы были на штурме? – спросил я старика.

– Я ел землю, я был на самом верху, на гребне Орлиного Гнезда, и был сброшен оттуда... И как счастливо упал! Я был уже на вершине Орлиного Гнезда, когда у защищавшихся не было патронов, не хватало даже камней. На самом гребне скалы меня толкнули трупом. Я, падая, ухватился за него, и мы вместе полетели в стремнину. Ночью я пришел в себя, вылез из-под трупа и ушел к морю...

Мы сделали еще несколько шагов молча. Старик взял палку под мышку и стал перебирать четки, будто желая показать мне большой палец и серебряное кольцо с золотыми насечками.

Я поднял на него голову – глаза смеются. Он смотрит в сторону.

– Милый кунак, вы?! – обрадовался я.

– Кунак – нет «вы». Я тебя узнал и ждал, узнаешь ли ты меня. Если бы ты не узнал, так бы и расстались...

Мы целый час ходили между отдаленными курганами, а вдали маршировали войска, играла музыка.

– Я себя не узнал в этом костюме. Я в Стамбуле купил такое пальто: не хотел ехать в своем, чтобы не обращать внимания.

Много говорили о прошлом. Я рассказал ему о докторе Самате.

– Самат приходил ко мне на Ингур. Он сказал, что ты доставлен в безопасное место. Самат проводил нас до Трапезунда, потому что среди переселенцев были больные.

Оказывается, что Ага еще задолго до меня занимался переселением своих черкесов с Кавказа в Турцию, его выследили, и тогда мы пробирались к нему на Ингур, чтобы скрыться в его дебрях, и попали в обвал. Я узнал только теперь от него, что он с Саматом отправил целый аул, а сам уехал в Стамбул на войну. Через несколько лет он поехал на Кавказ, но те аулы, откуда он увел своих в Турцию, все еще стояли в развалинах. Мы расстались уже на закате солнца. Он пошел в деревню Шипку, чтобы рано утром выехать в Бургос, а оттуда домой, в Стамбул, – он дал мне свой константинопольский адрес, – где Абадз-бей командует отрядом черкесов, а я отправился на другую сторону Шейновского поля, в свою палатку, в лагерь, разбитый для русских гостей.

Над Балканами голубовато лучилась яркая звезда на синем небе. Она мне всегда напоминает мою молодость.

Палатку мы занимали двое – я и художник А.П. Сафонов, родной брат художницы С.П. Кувшинниковой, которую описал Чехов. Его еще не было.

Я лежал в палатке один на кровати и смотрел в неспущенные полы моей палатки. На черном фоне Балкан внизу мелькали огоньки деревни Шипки и над ней, как венец горного массива, заоблачное Орлиное Гнездо, а над ним на синем звездном небе переливается голубым мерцанием та самая звезда, которую я видел после горной катастрофы...

Кольцо на большом пальце, четки, серебряная борода.

А передо мной Большие Балканы. Я уже их проехал верхом, и какими игрушечными кажутся мне они сравнительно с ледниковыми вершинами Эльбруса, Каштан-тау, Дых-тау. Живо передо мной встает ночной обвал.

Четверть века назад, когда седой Ага носил еще черную бороду, случилось это. С той поры я ни разу не представлял себе подробностей катастрофы. Помню только чудную, фантастическую картину ночи, а потом куда-то меня метнули, и я ухнул вниз... А седой Ага все так и стоит перед моими глазами. Беру тетрадку, карандаш, пробую пережить тот ужасный миг, но вот никак он мне не кажется ужасным, да не казался и тогда, когда я пришел в себя и лечился в полусакле-полупещере у пастухов. В том-то и дело, что понятия «ужас» я тогда, должно быть, не знал. Да оно и понятно – столько было всего пережито и все так счастливо сходило с рук, что я ровно ничего не боялся, а если пораздумать, то такая внезапная смерть, моментальная и в красивой обстановке, куда лучше виселицы или расстрела на заднем дворе, а перед этим еще тюрьма. А терять мне было нечего – и все-

гда я был уверен, что цел буду.

Так и дальше, в будущем. Или в опасности, например, в горячей перестрелке, когда кругом валились люди, я думал (если только думал!), что не всех перебьют, хоть один да останется! Именно я останусь!

Держу тетрадку, карандаш. Вызываю в памяти красивые картины сверкающих ледников с причудливыми формами... Потом все рушится. Качается, падает... летит... кружится. И нет слов. Не удержишь на бумаге то, что едва мелькает в памяти... Вдали огоньки в деревне. Орлиное Гнездо на синем небе. Но как это бедно сравнительно с красотой этих ледяных замков, колоннад и двух снежных вершин, врезающихся в такое же звездное небо! Слишком спокойные картины передо мной. Тихо мерцают звезды... Полный, самый эпический покой. Я лежу на кровати.

– Я... лежал на скале Эльбруса... – вдруг совершенно неожиданно выливается строчка почему-то стихов. Я не думал... Как-то с маху, без остановки и без поправки вытекло *у меня это* стихотворение. Оно, верно, отвечало картинам. Но эпически холодным. Я бросил тетрадку.

В это время вошел А.П. Сафонов:

– Ты что без огня лежишь?

И зажег свечку.

– Я сейчас из Казанлыка... у знакомых был. Вот получил подарки. – И выставил на стол четыре витиеватых, довольно грубой работы, но позолоченных флакона. – Два мне, два те-

бе. Ну-ка, капни в свою табакерку... По десять рублей флакон.

В палатке разлился аромат розы. Я забыл стихи, забыл незабвенную фигуру Аги, а встал передо мной давешний фельдфебель и за ним целый батальон солдат, старательно мажущий сапоги розовым маслом.

Над Орлиным Гнездом ярче всех переливалась голубым мерцанием восходящая звезда.

* * *

– Пароход бежит по Волге. Через забор глядит верблюд, – импровизирует на корме парохода высоким дискантом под немудрую гармошку молодой малый в поддевке и картузишке, расположась на круге каната, а я сижу рядом, на другом круге, и, слушая его, убеждаюсь, что он поет с натуры: что видит, то и поет.

Наш товаро-пассажирский пароход тихо и лениво тянется вверх почти у самого песчаного берега. На неоглядном горизонте выгоревшей степи живой только один сюжет, вдохновивший импровизатора гармониста. У самого берега одиноко стоит какая-то сараюшка, а из-за дощатой загородки высится шея верблюда. Он жует и лениво поворачивает голову по мере движения парохода. Может быть, слушает шлепанье колес или гармошку. Он не знает, что менестрель в поддевке, пропахшей рыбой, как и все мы, палубные пасса-

жиры, проспавшие между кулями сухой воблы, вдохновленный верблюдом, поет про него, а другой пассажир, в такой же поддевке, только новенькой и подпоясанной кавказским поясом, через пятьдесят лет будет писать тоже о нем и его певце.

Ведь на самом деле талантливый импровизатор – в двух строках обрисовано все, а главное, место уж очень точно обозначено: пароход «бежит» по Волге, и видно, что он «бежит» по низовой Волге, потому что уж выше Симбирска верблюда на Волге не увидишь.

Когда я спустя некоторое время, будучи уже на сцене в Саратове, за ужином после спектакля рассказал товарищам-актерам об этом импровизаторе и припомнил куплет о верблюде, все посмеялись и перешли на другие анекдоты. Только Далматов переспросил меня:

- Так вы говорите: через забор смотрит верблюд?
- Нет, «через забор глядит верблюд».

Далматов вынул из бокового кармана щегольской визитки сафьянную тисненную золотом записную книжку, вынул из нее карандаш с ручкой слоновой кости и что-то записал. Но на это тогда никто не обратил внимания.

В Саратов я попал скоро после этой встречи с импровизатором, даже очень скоро – прямо с этого «дружининского парохода», так что еще запах воблы от поддевки долго ощущал. А на пароход этот я попал в Царицыне, куда благополучно прибыл прямо из зеленчукских степей, из-под шатров снего-

вых вершин на далеком горизонте, и попал первым делом в Ростов, где облагообразился у парикмахера, купил прекрасные сапоги, тонкого сукна поддевку, сшитую, как тогда было модно, по-донскому, на манер чекменя.

В Царицыне, увидав с великой радостью Волгу, вспомнил свою жизнь бурлацкую и в память Нюха-ря Костыги, моего лямочного друга, купил берестяную с фольгой вятскую тавлинку, четверку костромского нюхательного табаку мятного – он летом хорош, мята в носу холодит, – понюхал и ожил!

Давным-давно я не нюхал, а последний год и табаку-то нюхательного в глаза не видал, забыл, что он существует. Зато обрадовался первой понюшке. Нюхаю и пою: «Пароход бежит по Волге».

Бегу «вверх по матушке, по Волге», а куда – сам не знаю. Разные мысли есть, но все вразброд, остановиться не на чем. Порадовал из Ростова отца письмецом, после очень, очень долгого молчания и обещал приехать. Значит, путь открыт, а все-таки как-то не хочется еще пока... Если не приеду, отец скажет только: «Не перебесился еще!»

И он совершенно прав: еще не перебесился. Садясь в Царицыне, я билет почему-то взял до Саратова. Оказалось, что именно так и надо было взять. Спускаюсь с палубы вниз, в буфет, и окончательно убеждаюсь в этом, увидав на стене висющую афишу, где преогромными буквами было напечатано «Идиот». Подхожу ближе и читаю: «Идиот», и далее: «Тайны Гайдельбергского замка», драма в пяти действиях, перевод

с немецкого». Оказывается, в Саратове в летнем театре Сервье играет труппа драматических артистов под управлением А.И. Погонина. Режиссер – Н.С. Песоцкий. Еще несколько знакомых фамилий – известный комик Большаков Аркаша и полуграмотный дубинообразный красавец купецкого рода Григорий Розанов. Розанов была его фамилия по сцене, а настоящая его фамилия – Дубинин. На дверях его квартиры в Тамбове висела напечатанная крупно его визитная карточка: «Артист Гр. Дубинин-Розанов». Пускай, мол, кто не знает, подумает: артист граф Дубинин-Розанов. А шутник Вася Григорьев взял и у нас на глазах исправил карточку. Вышло: «Артист граф-Дубина-Роза». Так и осталось за ним Дубина-Роза, хотя он и заменил фамилию Розанов на Беляев. Он играл вторые роли «рубашечного» характера.

Со всеми ними я служил в 1875 году в Тамбовском театре у Г.П. Григорьева, где начал свою актерскую карьеру.

Прямо с парохода я отправился в театр Сервье на репетицию. Багажа у меня не было никакого, кроме скромно отделанного серебряными бляшками сыромятного пояса, ловко стягивавшего мою поддевку, так, как еще недавно стягивал в осиную талию мою щегольскую черкеску. Пояс, подарок Аги, – это все, что уцелело от недавнего прошлого, если не считать нескольких золотых, которые я еще не успел растранжирить, будучи некоторое время в бродячем цирке.

Проходя мимо шляпного магазина, я зашел и купил чесучовый картуз военного образца, конечно без кокарды, и, до-

вольный своим видом, остановился перед входом в сад, откуда доносились до меня звуки репетировавшего оркестра.

Улица, очень чистая и широкая, с садами, разделявшими между собой небольшие дома, была пуста. Только вдали виднелась знакомая фигура, в которой я сразу узнал Песоцкого. Прекрасный актер на роли холодных любовников, фатов, он и в жизни изящно одевался, носил небольшие усики, которые так шли к его матово-бледному, продолговатому лицу, которое или совсем не знало загара, или знало такие средства, с которыми загар не в силах был бороться, солнце павсало.

– Николай Саввич! – остановил я его, когда он подошел к входу в сад.

– Ба! Какими судьбами? Рад вас видеть! После Тамбова мы ведь только в Кружке виделись. Что подельваете? Служите? – весело засыпал меня словами Песоцкий.

– Нет. Думаю, нельзя ли к вам?

– Ну вот и отлично. Кстати, у нас Никольский заболел. Вы вместо него сыграете Роллера...

Н.С. Песоцкий взглянул на часы, взял меня под руку. Мы свернули с главной аллеи, в конце которой был виден театр, в глухую улицу.

– Да, Роллера. Вы кого тогда играли в Тамбове? Мы сели на скамейку в густых зарослях жасмина.

– Прекрасно сыграете Роллера. Я еще его сокращу.

– Я помню пьесу, и Роллера помню. Еще гимназистом чи-

тал «Разбойников».

– То, что вы читали, и то, что мы играем, – вещи совершенно разные. Мы играем Шиллера по-летнему. Ну, да все равно. Словом, вы служите и сегодня играете Роллера.

– Очень вам благодарен, Николай Саввич!

– Вам, конечно, деньжата нужны? – спрашивает он меня. – Много дать не могу, но на расходы...

– Не беспокойтесь о деньгах, – перебил я его. – У меня еще хватит...

– Откуда вы сейчас таким бронзовым?

– С Кавказа да из степей...

– Прелесть! На Роллера и грима лучшего не надо! Только не вздумайте сегодня бриться, а то в полумаске очутитесь! Завтра побрейтесь. Идем! Яковлев звонит!

* * *

– А вот вам и Роллер! – представил меня Песоцкий собравшейся на сцене труппе во главе с Погониным.

Оказались старые сослуживцы и знакомые по Московскому артистическому кружку – и я дома. Песоцкий взял тетрадку, возвращенную Никольским, и, указывая мне, вычеркнул всю сцену первого акта и значительно сократил сцену во втором акте, оставив только самую эффектную суть. Суфлер повторил вымарки в писаной пьесе и передал мне роль, которой осталось странички полторы только во втором акте.

Ремарка такая: Роллер вбегает без шляпы, в одной рубашке, изорванной в клочья, везде сквозит тело, на шее – веревочная петля.

* * *

После репетиции я обедал в саду в товарищеском кругу и тут же нашел себе квартиру у двух актериков, Симонова и Карина, снимавших маленький дачный домик.

Суфлер дал мне пьесу, написанную четким прекрасным почерком и перекрещенную карандашом всех цветов и вдобавок украшенную чернильными надписями и между строк и на полях разными почерками.

На заглавном листе: «Разбойники». Трагедия Шиллера. В пяти действиях и двенадцати картинах». Имени переводчика не было. Вообще тогда, не раз участвуя в спектаклях в разных провинциальных театрах, я никогда не видел, чтобы играли по печатному экземпляру, и писанные – думаю, что с одного оригинала, именно такого же, какой я видел у Песоцкого, – были во всех театрах. Притом каждый Франц и каждый Карл имел свой экземпляр – и нередко со своими сокращениями и вставками. Но все виденные мною экземпляры были сценичны и весьма умело сокращены. Даже экземпляр, сокращенный «по-летнему», потому что летняя публика любит покороче, был весьма ловко сделан. Впоследствии, сравнивая такой экземпляр с переводами Сандунова, Кетчера и

Достоевского, я находил в нем сцены совершенно для меня новые. Может быть, взятые с французского перевода «Разбойников» Шиллера, или, скорее, переделки, переведенные потом по-русски Ивановым. Но что это делалось сценично, отрицать нельзя: масса выигрышных мест. Я на себе испытал это в Роллере. Песоцкий так умело сократил роль и дал мне несколько таких указаний, что я неожиданно имел крупный успех.

* * *

В первом акте я выходил Роллером без слов, одетый в черный плащ и шляпу. Одевался я в уборной Н.С. Песоцкого, который свою любимую роль Карла уступил молодому актеру Далматову. Песоцкий зашел ко мне, когда я, надев чулки и черные трусики, туго перехватив их широким поясом, обулся в легкие башмаки вместо тяжелых высоких сапог и почувствовал себя вновь джигитом и легким горцем и встал перед зеркалом.

– Какая красота! Вот такой и был Роллер! – услышал я слова Песоцкого. – Знаете что: никакой рубашки, никакого верхнего платья! Только одна петля на шее. Какая красота! Откуда вы весь бронзовый? Какие мышцы!

– В степях загорел! Да в цирке немного поработал!

– Скоро выход, я иду в партер вас смотреть.

Перед самым выходом на сцену я прошел в дальнюю,

глухую аллею сада, пробежался, сделал пяток сальто-мор-тале и, вернувшись, встал между кулисами, запыхавшись, с разгоревшимися глазами. Оглянул сцену, изображавшую разбойничий стан в лесу. Против меня, поправее суфлерской будки, атаман Карл с главарями, остальные разбойники – группами. Пятеро посредине сцены, между мной и Карлом, сидят около костра.

Седой сценарист Яковлев сверкнул на меня очками и предупредительно поднял руку, но я сам слушаю знакомые реплики, и в тот момент, когда Яковлев опустил руку, я рванулся на сцену, будто продолжаю дальний бег, перепрыгиваю группу около костра и еще через два прыжка останавливаюсь перед атаманом, высоко подняв руку, с веревочной петлей на шее, и отчеканиваю на высокой ноте:

– Я сорвался с виселицы!

Разбойники при моем появлении вскочили и остолбенели. Пауза удивления. Далматов смотрит на меня восторженными глазами.

– Да, я сорвался с виселицы, прямо с виселицы, говорю вам! Дайте водки. (Подают флягу.) А-ах! С меня уже сорвали рубаху, накинули эту петлю. (Опять пью.)

Публика аплодирует.

* * *

Дебют был удачен. На другой день шла «Свадьба Кречин-

ского». Я играл купца Щебнева и удостоился вызова. Вчера я выходил вместе с Далматовым под фамилией Никольского, а сегодня Погонин, не спросив меня, поставил мою настоящую фамилию, чему я, в конце концов, был рад. Мне стали давать роли, отношение товарищей прекрасное. Завелись приятные знакомства.

Сборы все время хорошие, несмотря на то, что все были увлечены войной и волновались, когда получались нерадостные известия. В один из призывов ополченцев я зашел случайно в думу, где был прием, и заявил – даже совсем неожиданно для себя – о желании идти охотником, почти так же, как моему кунаку Аге на его призыв ехать с ним «туда-сюда гулять» я ответил: «Едем».

Я телеграфировал отцу, что иду на войну; он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном я отправился в действующую армию, на Кавказ.

По окончании войны начальство предложило мне продолжать службу, но в это время у меня в кармане лежало письмо от Далматова, приглашавшего меня ехать к нему в Пензу, в театр.

* * *

В Пензе я играл под псевдонимом Сологуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Далматовым, который только что разошелся со своей третьей или, может

быть, пятой женой и весь отдался театру.

Между прочим, мы привели в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило почти все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну фривольную пьесу, а иногда кутнуть и гульнуть вовсю – вроде прогулки верхом на бочке отходников по одной из людных улиц Пензы, причем Далматов был в цилиндре и золотом пенсне. Это было на первой неделе поста, когда актеры уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далматова на будущую зиму. Далматов никогда не ездил постом в Москву – он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте.

Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в этом наборе труппы и вел всю переписку. Он только важно, с шикарным росчерком подписывал: В. Лучич-Далматов.

Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был далматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство свое провел он в Кишиневе и Одессе и говорил, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина.

В.П. Далматов иногда рассказывал, как он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках места пешком из города в город.

Прекрасный актер, он был такой же антрепренер. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Далматов

когда-нибудь не заплатил в срок.

Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, а то, может быть, вернее даже, приходили пешком разные Крокодиловы-Нильские, Таракановы-Вяземские, и каждому давались деньги добраться до Москвы. Обыкновенно все они стремились в Москву. А если объявлялись бывшие сослуживцы, брал их Василий Пантелеймонович на службу в переполненную труппу. Авансами разоряли, а отказать никому не мог.

Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Пенза тогда еще проедала остатки своих барских имений и меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи бенуара блистали модными аристократками, а бельэтаж – форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

В этот сезон В.П. Далматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была, безусловно, запрещена и после уже, через несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот же год он начал повесть и вывел в ней актера-бродягу, который написал «Катехизис актера».

В эту повесть и особенно в «Катехизис» Далматов влил себя, написав: «Уважай труды других, и тебя будут уважать»; «Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного»; «Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством»; «Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того»; «Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу, – ту-неядец и вор»; «Антрепренер, не уплативший жалованья, –

грабитель». Это органические черты Далматова: таким я знал его в Саратове, Пензе и Воронеже...

Мы собирались с В.П. Далматовым идти завтракать, когда сторож Григорьич ввел в кабинет И.К. Казанцева, известного актера и антрепренера. С Далматовым они расцеловались, как старые друзья. Казанцев проездом из Самары в Москву заехал в Пензу, чтобы пригласить Далматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр.

В.П. Далматов отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же пригласил И.К. Казанцев меня помощником режиссера.

Думалось, что меня он взял как привесок к В.П. Далматову, как кость или жилу, которую прибавляют как нагрузку к хорошему куску мяса.

– Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите и заказывайте завтрак. Через десять минут буду, только Горсткин унесу деньги – сегодня срок аренды театра.

* * *

Яркий, солнечный день. Снег, тот самый весенний яркий снег, о котором говорят «молодой за старым пришел», слепил глаза. Реомюр на стене театра показывал семь градусов. Ноги скользили – лед здесь никогда не чистили с тротуаров, – и мы шли под руку ради взаимного страхования от падения. Налево сверкала алмазами белоснежная Соборная площадь,

а по ней быстро шла наперерез нам, от церкви на Московскую улицу, стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под коричневой юбки сверкали серые ботики, а из-под каракулевой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбегавшую к ней с лаской собаку.

Прекрасный цвет лица, легкие, энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал:

– Славная барышня... Таких только степь родит. Сила и радость! Вся розовая...

Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь и ничего не ответил. Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь – Театральной...

Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженерю М.И. Свободина-Барышова. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиныным-Козиенко, сошлась с Далматовым. Это была чудесная пара, на которую можно любоваться. С этого сезона они прожили неразлучно несколько лет. Их особенно принимала избалованная воронежская публика, – а сборов все-таки не было.

Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера

были два воронежских зимних антрепренера – Воронков и Матковский, по несколько лет один за другим державшие здесь театр. Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались, на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила «Гамлета», сама его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем.

Второй случай, давший огромный сбор, был в бенефис никудышного актера Тамары, афериста и пройдохи, в свой бенефис имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета.

Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса Ц.А. Райчева, гастролировавшая в Воронеже в «Птичках певчих» и «Елене Прекрасной».

В этот сезон она служила в Ростове-на-Дону, и об ее успехах писали обе воронежские газеты – «Телеграф» и «Дон», которые вообще отводили много места театру, перепечатывая известия из газет, благо материал вполне цензурный, весьма читабельный, а главное – бесплатный.

Выходит огромная афиша о бенефисе артиста Тамары: «Гамлет, принц Датский. Трагедия Шекспира. В заглавной роли – бенефициант. При участии знаменитой артистки Цецилии Арнольдовны Райчевой, которая исполнит "Письмо

Периколы“...»

Об участии Райчевой напечатано красными буквами.

В списке исполнителей ролей ее нет. Офелия – Бороздина, королева – Микульская. «При чем Райчева?» – недоумевала публика. А бенефициант во фраке, на лучшем извозчике, носится по домам меценатов, «делает визиты», по лучшим магазинам, трактирам, клубам и всучивает билет, отвечая на все вопросы только одним:

– Приходите, увидите. Если не будет Райчевой – деньги обратно.

В день бенефиса Тамара едет утром на вокзал, встречает Райчеву, везет ее в лучшую гостиницу по людным улицам. Артистку узнают, видят, говорят о ней, и около театральной кассы толпится народ. К вечеру – аншлаг. При первом выходе бенефицианта встречают аплодисментами и полным молчанием после каждого акта и лучших монологов Гамлета. Тепло встретили Офелию, красавицу СТ. Бороздину, дочь известного артиста Г.И. Григорьева. Она только одна пока удостоилась аплодисментов и бисировала песнь Офелии.

Идут в молчании акт за актом. Думали сперва, что или Офелию или королеву будет играть Райчева, но и в королеве появилась Микульская. Где же Райчева? Стали заглядывать во время антрактов в кассу, как бы кассир не сбежал, но нет, он продает билеты на будущие спектакли. Большинство уже уверено, что смотрят спектакль даром: деньги обратно собираются требовать.

Пятый акт. Публика еще в антракте заняла места. Могильщики, старик и молодой парень, копают могилу. Приходят Гамлет и Горацио. Сцена с черепом Йорика. Наконец, хоронят Офелию. Все расходятся. Могильщики начинают закапывать могилу.

– До ночи не закопаешь! Оголодал, есть хочется, внучка надула, обещала обед принести.

– Хорошо бы поесть... Э! Да вот и она с горки спускается. Слышь, поет?

Через минуту появляется Райчева в блестящем костюме Периколы с большой корзиной, покрытой салфеткой.

– Дедушка, вот я обед принесла!

– Ну, спасибо, внучка... Ставь сюда.

Публика бешено аплодирует:

– Bravo! Райчева! Райчева!

Она открыла корзину и разложила еду:

– Кушайте!

Публика замерла. Ждет.

– Ну, внучка, мы будем есть, а ты нас потешь, спой что-нибудь веселенькое.

– Что бы вам спеть?

– А что обещала.

В оркестре – звуки арии из оперетты. Райчева выходит на авансцену и поет «Письмо Периколы».

Публика требует повторения. После второго раза Райчева уходит за кулисы. На вызовы публики ее выводил на сцену

сам Гамлет...

К такой публике и приехала наша труппа. Серьезного репертуара и хороших постановок мало было: надо гастролировать из столицы!

Казанцев ездил в Москву и привез известие, что через три дня приедут Ермолова и Правдин. В местных газетах появились заметки о гастроях.

Накануне во время спектакля было заявлено, что в десять утра приедут, а в одиннадцать репетиция, и предложено было желающим встретить Ермолову. Правдина почти никто не знал.

В первую голову, как помощнику режиссера, мне конечно, надо было по обязанности, и уж как я стремился увидеть ее – ночью не спалось, Заснул при солнце, но был разбужен в семь часов.

– Пожар! Ваши уж проехали к реке!

В Воронеже этим летом образовалась вольная пожарная дружина, куда я тотчас по приезде записался топорником, не отказываясь работать и в городской команде.

На окраине горели два деревянных дома. Кругом близко стройка. Пожар опасный. Ветер сильный. Все-таки опасность миновала, и когда я посмотрел на часы, – половина одиннадцатого, значит, только на вокзал опоздал – встречу на сцене. Примчался на извозчике, вбежал в заднюю дверь, выходящую в сад, прямо на сцену, чтобы почиститься и умыться до начала репетиции, и – о, ужас! – на сцене народ.

Первое, что я увидел среди кучки артистов, – это суфлера Модестова, задом влезавшего в будку, а около будки стоят Свободина, Далматов, Казанцев и еще кое-кто из артистов. Посредине их небольшой человечек в полосатой синей паре и панаме – Правдин, а рядом Ермолова, свежая и розовая от легкого загара, в сером дорожном платье и легкой, простой соломенной кругленькой шляпе с черной лентой. Они разговаривали со Свободиной, которая была немного выше ее. Я сразу вспомнил и Артистический кружок, и Театральную площадь, и Мещерского – и совсем забыл, что я даже не умылся.

Я двинулся к группе, чтобы извиниться за опоздание. Потом узнал, что прямо с вокзала они поехали на репетицию, а вещи отослали в гостиницу.

При первых моих шагах раздался хохот и возгласы, где слышалось слово «пожарный». Все-таки я подошел, сорвал с головы фуражку, извинился за опоздание. Смех в ответ на мой поклон, а потом Казанцев обратился ко мне со словами из «Птичек певчих»:

– Панателла, подите и умойте вашу физиономию, а потом я вас познакомлю с Марией Николаевной и Осипом Андреевичем.

А Свободина подставляет мне к лицу зеркальце:

– Посмотритесь!

Взглянул – весь в саже. Бросился как безумный назад, перепрыгнул через забор в сад моей квартиры и через десять

минут извинялся с трепетом сердца перед М.Н. Ермоловой.

Она меня встретила прекрасно. Оказалось, что Далматов ей еще на вокзале рассказал обо мне и заинтересовал ее.

Когда группа актеров окружила на платформе М.Н. Ермолову, пока пассажиры торопились в буфет пить кофе (тогда еще вагонов-ресторанов не было), а аккуратный Осип Андреевич Правдин побежал наблюдать за выгрузкой багажа, к В.П. Далматову подошел небольшого роста офицер.

На белом кителе его выделялся красный темляк на кавказской шашке – «за храбрость».

– Мы немного знакомы. Тоже на вокзале. Помните, вы провожали с моим эшелоном на войну Гиляровского. Моя фамилия Прутников.

В.П. Далматов обрадовался, обнял его, представил товарищам и сказал:

– Гиляровский служит у нас, он сейчас должен приехать сюда. Поезд простоит долго. Да вы останьтесь у нас на денек-другой.

– Не могу, больную жену в Ессентуки везу. Долго отвечал он на вопросы В.П. Далматова – все со вниманием слушали боевые воспоминания моего однополчанина.

Поезд ушел. Так мой друг меня и не видал, но его встреча с актерами сыграла свою роль. М.Н. Ермолова, наверное, никакого внимания не обратила бы на маленького актера Сологуба, если бы не эти рассказы на вокзале.

Как-то после одной из первых репетиций устроили общий

завтрак в саду, которым мы чествовали московских гостей и на котором присутствовал завсегдатай театра, местный адвокат, не раз удачно выступавший в столичных судах, большой поклонник Малого театра и член Московского артистического кружка. Его речь имела за столом огромный успех. Он начал так;

Высоко передо мною Славный Киев над Днепром, Днепр сверкает под горою Переливным серебром.

Это прекрасное стихотворение, в котором дальше поэт спрашивает:

– Вы откуда собралися.
Богомольцы на поклон? —

относится также к Воронежу, переполненному, особенно в летнее время, тысячами богомольцев, идущих от московских чудотворцев к киевским мощам и встречено из Киева в Москву.

Воронеж никак миновать нельзя, и те и другие обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути стоит... Вы можете видеть этих пешком прошедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соеди-

няющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов. Наши знаменитые артисты в своих поездках никогда не минут перепутья... Кого-кого мы не видали из них... Служить в наш город благодаря удобству сообщения едут охотно со всех концов нашей необъятной шестой части света. Сейчас, в нашей скромной компании, можно продолжить стихотворение со строки «Вы откуда собралися», и каждый из вас скажет: да, я оттуда...

С поднятым бокалом оратор первым делом обратился к Н.Н. Синельникову, донскому казаку:

Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса степей, —

и сразу повернулся лицом к сидящему с ним рядом Казанцеву:

— Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей...

Казанцев встал, чокнулся и вскользь, чтоб не прервать речи, бросает:

— Иннокентием зовут, значит сибиряк.
— Край мой теплый, берег Эвксина...

И не успел еще взглянуть на Далматова, как последний встал, и их бокалы встретились.

– Край мой – брег тех дальних стран.
Где одна сплошная льдина
Оковала океан...

Он что-то ищет, но его выручает Вязовский, указывая на меня:

– Сологуб оттуда.

Чтоб не помешать, я принял привет и ответил, показывая дно стакана:

– Я от Камы многоводной...

И опять ищет глазами.

– В аккурат с нее! – отвечает Василий Вятский.

А барон Оберкас, сын сенатора, прекрасно игравший лакеев, ответил поклоном на строчку:

– Я от царственной Невы.

И уже наверняка адвокат чокается с приставшим заранее Правдиным, приятелем оратора:

– Я от Ладоги холодной...

Подняв голову и закинув седую гриву волос, красиво перегнувшись через стол, он обращается к Марии Николаевне:

– Я от Матушки Москвы!

И закончил стихотворение... Да если и не закончил, то продолжать было нельзя – аплодисменты, чоканье. Все встали и с бокалами спешат к раскрасневшейся Марии Николаевне.

Мария Николаевна дружила только с М.И. Свободиной,

изредка в свободные вечера, по субботам, она бывала у нее. Иногда бывали и мы у нее. Я говорю «мы», то есть Свободина, Далматов и я. Редко заходил Казанцев, но, переговорив о театральных делах, исчезал, а Правдин жил где-то на окраине у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный немец, он избегал наших завтраков и ужинов.

На наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей.

В.П. Далматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался, конечно очень скромно, вечно памятуя лозунг моей жизни: «язык твой – враг твой, прежде ума твоего рыщет».

Марию Николаевну больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе, В.П. Далматова – картинки войны и приключения, М.И. Свободину – поэзия.

Как-то Мария Николаевна попросила меня прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимая ужасам войны», а М.И. Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах – и чудно читала: «Скажи мне, ты любил на родине своей?..»

И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темно-кариыми глазами:

– Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов: «Ска-

жи мне, ты любил на родине своей?..» В самом деле, вы поэт, значит, любили?

– Какой я поэт! У меня только два стишка. Это да «Кузьма Орел» и несколько шуток.

– Ну есть же стихи о любви?

– Никогда этого слова я не написал.

– А вот когда напишете это слово кому-нибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется, настоящим поэтом будете!

– Но разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви? А гражданские мотивы? Томас Гуд, Некрасов. О, сколько поэтов! Песня о труде, о поруганной личности, наконец, бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слово «любовь» и давшего бессмертный «Реквием».

– Так-то так. А все-таки моему сердцу ближе эти строки. – И опять обратилась ко мне:

– «Скажи мне, ты любил на родине своей?..»

– Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой Гаевской. Как рыцарь средних веков, сделал ее дамой сердца, переписывались с ней с войны. В дни, когда получалась в отрядной канцелярии почта, бегал за письмами для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она служила здесь, в Воронеже, у Матковского. Кончилась война. Я поехал домой морем на Таганрог и далее. С нетерпением ждал

Воронежа. С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают мне. Выходит знакомая худенькая фигурка. Конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга, разговор как-то не клеился. Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее. Пожал я ей руку – не поцеловал, нет, да я вообще никогда еще, кроме матери и мачехи, ни у кого руки не целовал – и уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась.

М.И. Свободина в это время взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то стала писать.
– Вот вам на память!

«Не понят ты людьми в халате драгом.
Поймут тебя они в кафтане златотканом».

И подпись – Мария Свободина.

Я прочел и пододвинул книжку Марии Николаевне. Она тоже взяла карандаш, и я прочел:

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный...

В тот же вечер Мария Николаевна дала мне свою фотографию с надписью: «Владимиру Гиляровскому – Мария Ермолова, Воронеж».

Книжка, вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела с дорогими автографами, а карточку в девяностых годах взяла одна студентка и не отдала. Студентка эта давно

уже доктор и служит в одной из детских больниц. Наверное, карточку хранит как зеницу ока. И на этом спасибо.

Мария Николаевна надписала карточку Гиляровскому, а не Сологубу, как меня звали все и как я писался в афишах. Она никогда не называла меня ни той, ни другой фамилией, а всегда Владимир Алексеевич. Для меня Мария Николаевна была недостижимым светилом, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи.

М.И. Свободина была любящей и любимой женой моего друга Далматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы женщины. Ни у той, ни у другой я не поцеловал руки. В то время я еще не поцеловал ни одной женщины и вообще ненавидел целоваться, что принято между актерами, а особенно пьяными. Когда кто-нибудь обнимал меня и лез целоваться, я обязательно подсовывал к его губам руку, которую он целовал, потом ругался, а тронуть меня, конечно, боялся. Так я и отучил моих друзей от поцелуев. Бледный призрак Гаевской – впоследствии я узнал, что, когда я заезжал к ней в Воронеж, она была невестой, – растаял, как растаял «второй я» над пропастью ледника. Профиль «восходящей звезды» погас, так как сама звезда была передо мной во всей своей славе... Дразнила воображение фигура девушки-степнячки в гимназической форме, сменившая Театральную снеговую и солнечную площадь на такую же Соборную в Пензе. Но все это мимолетно и неясно мелькало иногда...

Не понят ты людьми в халате драном.
Поймут они тебя в кафтане златотканом.

Эти строки заставили меня задуматься, и я уже ясно понимал их неопровержимость, когда видел моих знаменитых собеседников, с напряженным вниманием слушающих меня.

– Вас не удовлетворит сцена, – вы будете писателем. Столько видеть и не писать нельзя, – как-то после моих рассказов сказала мне Мария Николаевна.

Впоследствии я не раз задумывался над этими словами, а передо мной сверкали зарницы гроз далеких.

«Вы поэт и будете поэтом, когда у вас напишется то слово. Помните Майкова: „Скажи мне, ты любил на родине своей?..“», – повторяла М.И. Свободина.

Ободряюще светила строчка: «Вперед без страха и сомненья на подвиг доблестный». Но в суете актерской и веселой жизни проходило и забывалось. Я жил данным моментом: театром в Воронеже.

Как-то около полудня я возвращался с небольшого пожара на окраине, шел глухой улочкой, окруженной небольшими домиками, и увидел на скамеечке перед воротами пожилую женщину, перед которой стояли две богомолки в лаптях и с сумками за плечами. Рядом с ней сидела М.И. Свободина, которая меня окликнула и познакомила с сидевшей рядом:

– Анфиса Егоровна, подруга моей мамы.

– Очень рада... *Я вас* видела у Марии Николаевны. Да что здесь жариться, заходите, пожалуйста, в хатку, чай на столе.

Я было из вежливости, конечно, против своего желания, стал отказываться, а М.И. Свободина взяла меня под руку и повела.

В маленьком зальце с голубыми обоями и простеночным зеркалом стояли три круглые подушки для плетения кружев. За двумя сидели две хорошенькие блондинки, тоже в голубых, как и обои, ситцевых платьицах, и погремливали чуть слышно коклюшками, выводя узоры кружева.

– А вот мои крестницы Маня и Оля, племянницы Анфисы Егоровны, а вот и мама их, Анна Егоровна.

Та поставила самовар и мигнула дочкам. Они исчезли и через минуту внесли два блюда с пирогами, оба круглые, в решетку. Один с рисом и цыплятами, а другой с черешнями. Вслед за сестрицами вошла Ермолова, в светленьком простом платьице и в той самой шляпке, в которой играла учительницу в модной тогда пьесе Дьяченко «На пороге к делу».

Мария Николаевна удивленно посмотрела на меня, подавая мне руку. А Свободина сказала:

– Мы о нем много секретов знаем, пусть же и он знает наш секрет...

Выяснилось, что по воскресеньям обе они едят здесь пироги и беседуют с богомолками.

– Изучаем типы! – сказала М.И. Свободина, а М.Н. Ермолова добавила:

– Знакомимся с ужасами женской доли... Мне только здесь стали воочию понятны Некрасов и Писемский. Представьте себе, вот сейчас в садике сидит красавица женщина, целиком из «Горькой судьбины», муж из ревности убил у нее младенца и сам повесился в тюрьме. Вот она и размыкивает горе, третий год ходит по богомольям...

В садике пять богомолков пили чай с булками.

– Вот эта, – шепнула мне М.Н. Ермолова, указывая на действительно с красивыми чертами лица, исхудавшую и почерневшую от загара женщину.

Рядом с ней сидела крепко сложенная невысокая старуха со слезящимися глазами и темная, как закопченная икона. Она из Вологодской губернии, всю жизнь прожила в избе, которая топилась по-черному. Пошла раз в жизни отдохнуть от холода, голода и мужниных побоев в течение сорока лет. Пошла она размыкать свое горе, поделиться им с товарками-богомолками и грехи свои, которых и не было, рассказать исповеднику, услышать от него слово прощения. Этот тип со временем должен исчезнуть с изменившимися условиями жизни. Она – лучшая иллюстрация к Некрасову:

Выраженье тупого терпенья

И бессмысленный, вечный испуг.

– Вы посмотрите, – не глядя на нее, говорила мне Мария Николаевна, изучившая ее до тонкости, – посмотрите на это

красивое лицо, скорее цыганское, чем ярославское. Она из-под Ярославля. Эти две глубокие между бровями морщины неотвязной думы, эта безнадежность взгляда... Это не тоска, не грусть... Это трагедия... Это не лицо, а маска трагедии...

Если бы вы слышали, как она подробно рассказывала пережитые картины ужаса и свой грех, в котором она и виновата не была, но который ее мучил! Она чувствовала, что я понимаю ее, и выливала передо мной все, что угнетало ее душу, все, что она не могла рассказать кому-нибудь дома, даже своему священнику. И ни одной слезы, которая бы смыла этот ужас! Слезы смягчают и облегчают переживаемую боль, которая в ее взоре и лице. «И вот иду... Иду... За народом иду... У Троицы была. В Москве, в Киеве... Исповедаешься – полегчает... Богомолка есть горе горькое, свое горе передо мной выплечет, а я ей свое – опять полегчает... Ежели бы не пошла – руки на себя наложила бы. Жить не для кого... И вот иду... иду... За народом иду... Куда народ, туда и я...»

Так запомнила М.Н. Ермолова каждое слово богомолки.

М.И. Ермолова и М.И. Свободина остались в садике, а я ушел домой. До сих пор жалею, что мне не удалось повидать «Горькую судьбину» в Малом театре.

* * *

Гастроли М.Н. Ермоловой в Воронеже прошли при полных сборах почти во всех ее спектаклях. О.А. Правдин,

недурный актер, имел тоже успех. В его бенефис были при-ставные стулья. Спектакль был обставлен прекрасно. Шла драма Аверкиева «Каширская старина», Марица – Ермолова, Василий – Далматов, любимец публики, и Живуля – Правдин. Но этот спектакль не гремел такими неудержно шумными овациями, как бенефис Ермоловой и некоторые спектакли с ее участием, которые, по выражению московско-го жандарма Слезкина, были «с душком». Это «Овечий источник» или некоторые современные пьесы В.А. Дьяченко, как, например, «На пороге к делу», «Виноватая». Надо заметить, что Дьяченко, известный драматург, жил в Воронеже, где сам ставил свои пьесы, всегда на современные жгучие темы, и был любимцем местной публики, и особенно молодежи, так как все его пьесы были именно «с душком». Он умер в 1876 году, то есть года за три до нашего сезона, но пьесы его в Воронеже шли.

Пьеса «На пороге к делу», которая шла с Ермоловой в Малом театре, сделала в первые дни приезда гастролеров огромный сбор и показала публику совершенно особую.

– «Ермоловская» публика, – сказал И.К. Казанцев, и сразу поняли, какие пьесы ставить для этой публики. А если приходилось давать что-нибудь вроде «Каширской старины», то он вместо водевиля объявлял дивертисмент, где Ермолова читала стихи, те самые, которые в Москве стояли поперек горла жандармской власти.

Всегда такой дивертисмент привлекал «ермоловскую»

публику. Тогда галерка, балкон и последние места партера были полны, и вызовы при громopodobных овациях были бесконечны.

В антрактах эта публика не осаждала буфет, а гуляла группами в глухих аллеях сада. Некоторые группы громко обсуждали игру артистов, спорили. Другие были не так шумны, но все же оживлени, держались свободно и вместе с тем скромно, даже серьезно. Зато гудели они в театре, после окончания спектакля вызывали по несколько раз своих любимцев, а главное – Ермолову.

Большую аллею и площадку с фонтаном перед театром, где была эстрада для музыкантов, заполняла щегольская публика лож и партера. Модные туалеты дам, визитки молодых франтов да чесучовые широкие пиджаки и дорогие панамы богатых помещиков, приехавших на спектакли Ермоловой из своих имений. А там, в дальних аллеях, – учащаяся молодежь, сельские учителя в широкополых шляпах, иногда черных, иногда местной работы из прочной соломы, – брылях. Большинство в очках, иногда синих; многие в поддевках, красных рубахах и яловых сапогах. Среди учительниц и их приезжающих на лето столичных подруг были некоторые с короткими волосами, некоторые в очках, и все в маленьких простых соломенных шляпах, точь-в-точь в какой Мария Николаевна играла учительницу в пьесе В.А. Дьяченко.

Все эти люди, и молодежь и пожилые, бородатые и волосатые, были с чрезвычайно серьезными лицами, будто они при-

шли не в летний театр развлекаться и веселиться, как публика у фонтана, явились, по крайней мере, в университет слушать любимого профессора.

Из всей труппы только у Казанцева были знакомые среди этой публики, они молчаливо и любезно раскланивались.

Семнадцатого июня 1879 г. в бенефис М.Н. Ермоловой шел «Сверчок». Весь Воронеж чествовал любимую актрису – и вся «ермоловская» публика была налицо со своими двумя басами, не пропускавшими ни одного ее спектакля. При вызовах бенефициантки они гремели как никогда. Один бас – хоть сейчас «Демона» пой, а другой – не слыханная ни до ни после мною октавища... Он гудел будто откуда-то из-под земли, из склепа, из пропасти... Слышны были только: «Моло-о-ва-а-а...» Треск аплодисментов и стук в пол палками, зонтами и ногами – все покрывали эти два чудовищных баса. Публика и мы, актеры, привыкли к ним и не интересовались ими. Слышали, что это два богослова-семинариста, будущие протодьяконы. Но на этот раз на них было обращено внимание одним человеком, и я заметил это со своего наблюдательного поста, из дырочки в правой кулисе, откуда я рассматривал при опущенном занавесе публику в зале.

В этот вечер в первый раз на угловом кресле я увидел местного жандармского полковника и рядом с ним полицмейстера. Обыкновенно на этих казенных местах сидели разодетые дамы, жены, может быть, а мужья, как было слышно, – страстные картежники – предпочитали клуб.

Театр неистово вызывал бенефициантку. Первый ряд встал возле оркестра и, подняв высоко руки перед занавесом, аплодировал. Только два человека в белых кителях, опершись задом в барьер оркестра, задрали головы кверху, поворачивая их то вправо, где гудел один бас, то влево, откуда, как из пропасти, бучало: «... во... а... ва... а... а». Бучало и заливало все.

По-видимому, высокого, с английским пробором на затылке, жандармского полковника заинтересовали эти басы, а полицмейстер, у которого был тоже пробор от уха до уха, что-то отвечал на вопросы жандарма, потом качнул головой: «слушаю, мол», и начал проталкиваться на своих коротеньких ножках к выходу.

В это время подняли занавес, и вышла на вызовы Ермолова, и жандарм, сверкая бриллиантом на мизинце холеной руки, начал как-то наискось хлопать ладонь о ладонь, но «на челе его высоком не отразилось ничего».

М.Н. Ермолову вызывали, подносили подарки... букеты... венки... С галерки сыпались пучки полевых цветов, а басы гудели.

В числе наших «карасей» – так в те годы повсюду актеры называли меценатов, ставивших актерам угощение, – был богатый человек, живший широко. Звали его Николай Васильевич, а фамилии его так и не знали. Я встретил его в Москве во время немецкой войны. Он обедрял и держал маленькую табачную лавочку с вывеской «Н.В. Васильев». А

тогда он шикавал вовсю, закатывал актерам пикники, ужины и постоянно бывал за кулисами, причем ни за одной из актрис не ухаживал. В бенефис М.Н. Ермоловой он прислал свою коляску, чтобы отвезти ее из театра домой.

М.Н. Ермолова по окончании спектакля вышла из театра, сопровождаемая всей труппой, прошла по саду под приветствия шпалерами стоявшей публики. По выходе на улицу она была встречена новым громом аплодисментов. Коляска, украшенная цветами, стояла без лошадей, вместо которых впряглась учащаяся молодежь обоего пола во главе с двумя гигантами в камлотовых, может быть, из старых родительских ряс, пиджаках, своими басами покрывавших гудевшую улицу. Зажгли факелы. Полиция протестовала, но бенефициантку усадили вместе с ее горничной с большим узлом и при восторженных криках довели до гостиницы.

М.Н. Ермолова чувствовала, что здесь в Воронеже у нее есть своя публика, такая же, которая в Москве, на студенческих вечерах создала ее первые успехи, та же самая, которая восславилась ее «в Овечьем источнике». Это та же учащаяся молодежь и радикально настроенная интеллигенция. Она удивлялась, что глухая провинция, Воронеж, моложе Москвы, и вдохновенно читала в дивертисментах то же, что читала на московских студенческих вечеринках. На афише помещалось: чтение из сборника «Живая струна». А читался и Плещеев, и Некрасов, и Пальмин...

Каждое ее выступление в дивертисментах – сплошная

овация. С каким восторгом я слушал ее каждый раз! Такого чтения после П.А. Никитина я не слышал никогда, и, слушая ее тогда и после, я будто вижу перед собой П.А. Никитина, слышу его голос, тон, переливы, и вижу перед собой меняющееся выражение лица и глаза Ермоловой, Ермоловой того дня, того незабвенного вечера, когда вскоре после бенефиса прочла она «Песню о рубашке» Томаса Гуда, затем Некрасовское «Внимая ужасам войны». Публика неистово требовала еще и еще... Басы гудели. Она еще прочла Плещеевское «Вперед без страха и сомненья»... Выходила на нескончаемые вызовы, показывала, что не в силах больше читать. Публика, видя ее усталую, а может быть, чувствуя, что сильнее, чем «Вперед», уже ничего сказать нельзя, только благодарно, неистово приветствовала...

Когда она, откланиваясь, отступила в глубь сцены, вдруг раздалось с галерки:

– Реквием...

А вслед за ним, как эхо, «Реквием» повторилось еще несколькими отдельными голосами в партере, и наконец рывкнул и бас сверху, по-семинарски смягчив первый слог. Театр на это непонятное для них слово ответил общим ревом: «Бис... бис...»

Как сейчас помню, Ермолова остановилась, благодарно взглянула, подняв голову к правому углу галерки, откуда рывкнул басыще, расцвела как-то вся, засияла, подошла к рампе, поклонилась и встала. Лицо стало серьезным. Театр

замер.

И полились чарующие звуки, и зазвучал безотказный призыв, и чуялась в голосе сила неотразимая... Это не Ермолова, – это Лауренция, призывающая к отмищению...

– Заиграло! – кивнул мне Казанцев головой, мигнув на зрительный зал, и выражение лица было точь-в-точь такое, какое я видел у него потом в пьесе Писемского «Самоуправцы», когда он, играя Девочкина, бросает это слово, сидя верхом на заборе и любуясь пламенем подожденного помещицкого дома.

Не плачьте над трупами павших борцов.
Погибших с оружием в руках...
Не пойте над ними надгробных стихов.
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам.
Отдайте им лучший почет.
Шагайте без страха по мертвым телам.
Несите их знамя вперед...

Кованой сталью звенели и звали к бою звенящие слова:

Несите их знамя вперед...
С врагом их под знаменем тех же идей
Ведите их в бой... до конца...

Секундная пауза. Вместо грозного призыва в голосе и лице восторженный взгляд и убедительный полусшепот:

Нет почестей выше, нет тризны святей
Для тени, достойной борца.

Взрыв аплодисментов и приветствий слился в гул, заглушивший даже басы.

Уехала Ермолова – сборы упали. Басы исчезли. Только бенефис Вязовского сделал сбор, да и то, думается, потому, что на один спектакль приехала любимица воронежской публики Ц.А. Райчева, спевшая в дивертисменте несколько арий из опереток. Да еще явился на репетицию бенефиса человек небольшого роста с красиво подстриженной русой бородкой. Он предложил спеть в дивертисменте «Баркаролу» и принес с собой мандолину и тут же прорепетировал перед артистами.

Его поставили на афишу: «Певец Петров исполнит «Баркаролу». Сбор был недурной, виднелся в последний раз кой-кто из «ермоловской» публики. Гремел при вызовах один бас. Петров имел успех и, спевши, исчез. Мы его так и не видели. Потом приходил полицмейстер и справлялся, кто такой Петров, но ответа не получил: его не знал никто из нас, кроме Казанцева, но он уехал перед бенефисом Вязовского, передав театр нам, и мы доигрывали сезон довольно успешно сами.

«Реквием» имеет свою историю. Автор его – Лиодор Иванович Пальмин, поэт-сатирик, работавший у В.С. Курочкина в лучшее время «Искры». В восьмидесятых годах он писал всюду, не разбирая направлений издания, и везде пользовался одинаковым почетом. Печатал в «Русской мысли», у В.М. Лаврова и В.А. Гольцева, под своей полной фамилией стихи и переводы с польского и одновременно в «Московском листке», у Пастухова, печатал под псевдонимом Трефовый король, Марало Иерихонский юмористические стихи и у него же, в «Гусяре», подписывался полной фамилией. Писал он в «Будильнике», «Свет и тени», «Стрекозе» и «Осколках» и везде был грозой цензоров. Как его ни ловили, а он все-таки всучит такую закорюку, что цензору выговор влетит, а то и совсем в отставку. А раз закатил такую штуку, что цензура строжайше указала не сметь упоминать об этом.

В «Осколках» первого января 1883 года напечатано было его новогоднее стихотворение, весь сюжет которого состоял в шуточной игре слов на цифрах 2 и 3, а канвой служили 1882 и 1883 годы. Глубина злой шутки, о которой было строго запрещено упоминать, заключалась в том, что после Александра II вступил на престол Александр III.

Я не помню всего стихотворения, но у меня остался в памяти куплет, которым заканчивалось это новогоднее стихо-

творение:

Кой черт, что два сменило три...

Пустою будет голова.

Когда она пуста внутри...

На ней хоть два.

На ней хоть три...

Когда потом Н.А. Лейкин, издатель «Осколков», укорял Пальмина, что он мог подвести журнал подобным стихотворением, то последний ответил: уверен, что ничего за это не будет, потому что отвечает цензор, который разрешает, а если уж такое несчастье и случилось, то ни Главное управление по делам печати, ни даже сам министр внутренних дел не осмелится привлечь цензора: это все равно, что признать, что царь – пустоголовый дурак. Таков был Пальмин.

В то время, когда я с ним подружился, то и дело встречаясь в редакции, это был невзрачный, небольшого роста человек, в синих очках, с лицом, изъеденным оспой, и всегда с «акцизным акцентом»: очень любил водочку и даже в кармане косушку носил, а когда ему на это укажут, отвечал: «Сердце останавливается... Сделаешь глоточек, и опять застучит...» Пальмин знал только редакцию и трактир. В гости к знакомым не ходил и к себе никого не звал. Мне только посчастливилось у него частенько бывать. Мы жили целое лето на даче под Москвой, в Краскове, я на одном конце села, против церкви, а он на другом, рядом с трактиром. Иногда,

когда он у меня изредка засидится, подвыпьет, это бывало к полуночи, то я шел его проводить, и уж никогда не отпустит без рюмки водки или стакана пива. Жена всегда ждет его, ругает, не стесняясь, при мне: опять напился. А сама уже тащит на стол угощение и ставит три рюмки или три стакана – сама любила выпить и очень любила угостить. «Вы вот кокетку скушайте», – уговаривает меня. «Сколько раз тебе говорю: не кокетку, а котлетку...» – «Вот если бы я тебе из котла ее сжарила, тогда котлета... А это, небось, говядина...»

Пойдет спор. Выпьем по две-три рюмки, я прощаюсь, а он увяжется проводить меня... Если дома не спят, опять его приходится угощать и провожать...

Как-то ночевал у меня Антоша Чехонте. Так мы всю ночь, будучи оба трезвые, провожали Лиодора, а он непременно нас, и так до света. Был ли он женат или просто много лет жил с этой женщиной, никто не знал. Он ее никак не рекомендовал, а она вела себя, как жена. Каждому приходящему совала лещом руку и сразу тащила на стол водку.

В такой обстановке Пальмин работал, иногда давал чудные вещи. Его стихотворение «Реквием» было написано давно, долго ходило по рукам, а потом как-то проскочило в сборник-декламатор «Живая струна», но в числе нескольких стихотворений было запрещено для чтения на сцене. Его разрешили для чтения только во время турецкой войны, полагая, что шагать по мертвым телам и нести знамя вперед относится к победе над турками, но цензура вскоре одума-

лась, запретила вновь для чтения на сцене и из следующих изданий «Живой струны» совсем выкинула.

– Куда ты, долгогривый, на плитувар заехал!

– Да я пешком иду!

Такой диалог происходил в заштатном городишке Тамбовской губернии, где не только тротуаров, а и мостовой даже на главной улице не было, а щегольнула там не слыханным дотоле в здешних местах словом супруга полицейского пристава, выслужившегося из городских при охране губернаторского дома, где губернаторша поженила его на своей прачке, а губернатор произвел в квартальные.

Это было началом его карьеры. В заштатном городишке он вел себя важнее губернатора, даже жесты у своего прежнего Юпитера из Питера перенял: голову поднимет, подбородок, всегда плохо выбритый, выпятит, смотрит через плечо разговаривающего с ним, а пальцы правой руки за бортом мундира держит.

– Вот я те покажу! – взвизгнула приставиха, глядя на двигающуюся вдоль высокого дощатого забора деревенскую соломенную шляпу на косматой гриве.

Круглая, как шар, выкатилась приставиха за ворота с метлой, поднятой на высоте соломенной шляпы, в намерении поразить дерзкого «наездника»...

Два огромных черных крыла взмахнули над шляпой, и косматое чудовище раскрыло обросшую волосами пасть с белыми зубами. Что-то рывкнуло, а затем захохотало раска-

тами грома. Пара свиней, блаженствовавших в луже посередине улицы, сперва удивленно хрюкнули, а потом бросились безумным бегом во двор полицейского квартала, с десятков кур, как будто и настоящие птицы, перелетело с улицы в сад, прохожие остановились, а приставиха вскрикнула – и хлоп в обморок.

На пронзительный вскрик и громоподобный хохот бежали через двор в расстегнутых кителях исправник и пристав, опрокинув стол с наливками, которыми они услаждались в вишневом садике.

Чудовище, увидав полицейские мундиры, по-видимому, испугалось, но продолжало свой путь под удивленные взгляды встречных, бежавших к кучке народа, окружающей приставиху.

– От бремени разрешается твоя супруга, – заявил приятелю исправник, бывший до полицейской службы военным фельдшером, и крикнул в собравшуюся толпу: – Беги-ка кто за Матвевной, скажи – к роженице!

Трое мальчишек стремительно бросились в соседнюю улицу, вслед им поползла городская дурочка-нищенка, напевая: «Погоди родить, дай за бабушкой сходить», а исправник подавал медицинскую помощь.

Трое мальчишек забыли все, увлекшись кувырками в воздухе турманами, которых гонял длинным шестом городской голова, балансируя на балкончике голубятника. Его лоснящееся от жиру бородатое лицо выражало и спортивный

азарт и блаженство.

Эти чувства еще ярче отразились на чумазах мордочках мальчуганов, которые тут и застряли, забыв и о Матвевне, и о роженице, и об исправнике. А в это время исправник исправно исправлял обязанности акушерки, а пристав производил дознание о происшествии.

Главного виновника пристав не успел допросить, он только увидел широченную спинущу, шляпу над косматой гривой и широченные рукава, которыми размахивало это чудовище, исчезая в повороте на главную улицу, стараясь скрыться. Пристав все-таки узнал его, погрозил кулаком вслед:

– Ужо вот я тебя дошкуру! Не погляжу, что!

Этот рассказ я услышал на Большой Дмитровке, за чайным столом, в комнатке при табачной лавочке Н.В. Васильева, куда я зашел за свежим чумаковским табаком.

В Воронеже во время гастролей М.Н. Ермоловой Н.В. Васильев, который числился в меценатах, часто угощал актеров, и в его коляске отвозила публика артистку после бенефиса.

Теперь Н.В. Васильев, проторговавшись, держал в Москве табачную лавочку, куда я и зашел.

За столом сидели пятеро: сам хозяин, чистенький старичок, его старушка жена и два провинциала-покупателя, одетых – старик в долгополый сюртук и сапоги бутылками, а другой, высокий и могучий, в бобриковом пиджаке и синей рубахе-косоворотке. Оба из одного города, оба родились

там и только позволяли себе выезжать за покупкой товара в Москву. Старший в молодости еще служил приказчиком в Воронеже, а младший после смерти отца, ставшего уже исправником, жил со своей матерью и женой в том же самом домике, где родился, держал тут же овощную лавку, и в Москву его жена отпускала только со своим отцом. Тесть звал своего зятя Павлушей, а тот почтительно именовал его Назаром Филиппевичем, а Васильев его звал Назарушкой, а тот его – Коля. Оба они, наперерыв, весьма образно рисовали жите-бытье заштатного города.

Наша беседа с Н.В. Васильевым началась с воспоминаний о воронежском сезоне, а потом стала общей. Особенно много знал о Воронеже старший, бывший в то время приказчиком в книжном магазине и имевший большое знакомство. Во время арестов в 1880 году книжный магазин закрыла полиция, а Назарушку вместе с его хозяином выслали на родину.

Во время разговора о Воронеже мелькали все неизвестные мне имена, и только нашлась одна знакомая фигура. В памяти мелькнула картина: когда после бенефиса публика провожала М.Н. Ермолову и когда какой-то гигант впрягся в оглобли экипажа, а два квартальных и несколько городских, в служебном рвении, захотели предупредить этот непредусмотренный способ передвижения и уцепились в него, то он рывкнул: «Бр-рысь!» – и как горох посыпалась полиция, а молодежь окружила коляску и повезла юбиляршу.

Это был семинарист богослов Саввушка, который заста-

вил М.Н. Ермолову прочесть «Реквием». Он в будущем году кончил курс, и воронежский архиерей уже наметил его за необычайный голос и великанский рост в соборные протодьяконы прямо с семинарской скамьи. Но не удалось ему быть воронежским протодьяконом. Осенью этого года пошли в городе, никто тогда не знал почему, политические аресты, и в числе арестованных оказался и Саввушка. Так звали его все в память легендарного Саввушки, такого же богатыря, бывшего когда-то протодьяконом, от баса которого лампы потухали. Его посадили вместе с другими арестованными в тюрьму, но архиерей его выручил. Других сослали, а ему дали кончить курс, но жандармы разыскали за ним еще какую-то вину, и по неблагонадежности ему было запрещено жительство в Воронежской губернии. Хотели даже сослать его в Сибирь, но опять архиерей спас, и, конечно, оживив его, дали ему место в какое-то глухое село глухого уезда Тамбовской губернии, где он и зажил мирно, поражая своим голосом, слушать который приезжали любители.

Человек он был трезвый, дружил с учителем, интересовался чтением и больше всего любил ловить на удочку бирючей, эту вкусную рыбку, водящуюся в изобилии в реке Воронеже.

Его-то «дошкурить» и порешил пристав, отец только что рожденного Павлуши, бывший воронежский квартальный, один из тех, на которых гаркнул Саввушка «Брысь!» и который впоследствии присутствовал на обыске и отправлял его

в тюрьму.

Когда исправник великолепно выполнил обязанности акушерки и новорожденного мать кормила грудью, пристав поил сливянкой в беседке исправника и требовал, чтобы дьякона Саввушку отдать под суд, что он вообще неподходящий и по политическим делам содержался.

Исправник что-то помозговал, и глаза его засветились:

– Э! Да о нем у меня бумага есть. По предписанию жандармского управления он отдан нам под негласный надзор. И он, и учитель от Троицы, и дачники с Хохловой мельницы! Мы сейчас обыск закатим, первым делом у него!

При обыске нашли роман «Что делать?» и старый номер «Земли и воли». Исправник получил награду.

Саввушка посидел в Воронежской тюрьме и был куда-то сослан.

* * *

Двадцатого февраля 1886 года – юбилей С.А. Юрьева, празднуется в Колонном зале «Эрмитажа», Глаголями стояли сверкающие серебром и цветами столы в окружении темной зелени лавров и пальм. Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом. По правую сторону юбиляра сидела Г.Н. Федотова, а по левую – М.Н. Ермолова. Обед был сервирован да сто пятьдесят персон. Здесь были все крупные

представители ученой, литературной и артистической Москвы...

Речи лились. То и дело один за одним мелькали поднимающиеся ораторы: В.А. Гольцев, А.И. Чупров, В.И. Герье, Ф.Н. Плевако, А.Н. Веселовский. Г.А. Джаншиев, А.П. Ленский, А.И. Южин, Н.В. Бугаев. Представители всех направлений чествовали «человека сороковых годов», ученого, писателя, драматурга и искусствоведа. Либералы особенно подчеркивали его значение как переводчика Лопе де Вега, и тогда лавры юбиляра разделяла и Ермолова: подходившие ораторы приветствовали и юбиляра и Ермолову, чокались с ней, как с первоисполнительницей Лауренции на русской сцене. Юбилей этот был праздником для Ермоловой.

Старейшая представительница от Малого театра ЕН. Федотова стушевывалась, хотя этого никто не подчеркивал: уж очень дипломатичны были наши ученые, но чувствовалось, что вторым лицом за Юрьевым здесь была Ермолова.

Закончились речи, задвигались стулья; из гостиной, убранной экзотикой и цветами, раздался звук рояля, и все двинулись туда, к кофе и ликерам.

Я, все время не спускавший глаз с Марии Николаевны, хотя загорожен был от нее спинами впереди сидевших, встал в то время, когда поднялась она. Увидав меня, она закивала мне головой.

– Неужели вы узнали меня? Ведь я с бородой...

– Конечно, узнала, у меня есть номер «Будильника» с ва-

шим портретом, да потом, как же вас не узнать?..

Пока публика торопилась в гостиную, мы стояли у стола и разговаривали. Это была моя первая встреча после Воронежа, первая и единственная, явившаяся продолжением наших воронежских бесед. Никогда не забуду этого разговора во всех подробностях.

– *Я все ждала от вас или речи, или экспромта, как в Воронеже, а вы все писали...*

– В Воронеже свои, товарищи, а здесь – цвет Москвы!

– И вы не тот, что в Воронеже... Мне первый на вас указал Казанцев, потом Андреев-Бурлак рассказывал о своей поездке по Волге и о вас... Стихи ваши читаю в журналах. Прочла ваших «Обреченных» в «Русских ведомостях», то самое, что вы мне рассказывали о работе на белильных заводах.

Я стоял, молчал и был на седьмом небе...

– Помните Свободину... Ее предсказание сбылось... Знаю, что вы женаты... Одно из ваших стихотворений из «Осколков» о фабрике наизусть выучила, читала, да запретили...

Тут нас перебил В.А. Гольцев:

– А вас, Мария Николаевна, конечно, интервьюирует наш представитель прессы...

– Нет, Виктор Александрович... Просто старину вспоминаем, лет десять тому назад вместе в Воронеже служили и с тех пор не видались...

– Позвольте!.. Позвольте!..

Прислуга хлопотала, унося столы. Из гостиной слышно пение. Мы вошли туда в то время, когда дружными аплодисментами награждали артистку Большого театра М.Н. Климентову. М.Н. Ермолову сейчас же окружили... Я отошел в сторону, но все-таки раза три урывками мне удалось поговорить с ней еще. Она восторгалась Воронежем.

– Какая там публика чуткая! Как далеко провинция опередила Москву!.. Меня особенно поразило: в дивертисменте меня заставили бисировать до усталости. Прочла мое любимое «Вперед без страха и сомненья».

– Это вы мне в книжку написали, храню...

– Ну, вот, прочла, вышла, раскланиваюсь и показываю руками, что устала, не могу больше. Публика поняла и не требует. Вдруг я слышу, кто-то с галерки, сдерживая голос, убедительно басит: «Реквием!» Я взглянула наверх, а там молодежь хлопает и кричит, и опять басовый полусшепот покрывает голоса: «Реквием!» Потом еще три-четыре голоса: «Реквием!»

– Это я помню.

– Ну вот. Сама не знаю, как это вышло, но я прочла «Реквием». Уж очень меня поразило – откуда знают в Воронеже. Ведь я «Реквием» читала всего один раз, на вечеринке, на Пречистенке, студентам и курсисткам.

Нас опять перебили – подошел седобородый и подслеповатый С.А. Юрьев под руку с А.И. Южиным.

Последний мой разговор в этот вечер был такой.

Я перехватил Марию Николаевну, когда она шла к чайному столу одна:

– Позвольте с вами попрощаться, Мария Николаевна, я бегу в редакцию, надо отчет писать!

– Ну, торопитесь... Только одна просьба – не пишите ничего, ничего не пишите в отчете обо мне. Искренняя просьба... Мне не могут простить Воронежа... Когда я приехала, все меня поздравляли с успехом, а Надежда Михайловна Медведева и говорит мне: «Ты, Машенька, там, болтают, будто запрещенные стихи читала...»

Шли годы, десятки лет... Мы встречались с Марией Николаевной на заседаниях Общества российской словесности, в маленьком круглом зале углового университетского здания, у ворот. Встречались иногда на разных юбилеях. Продолжительных разговоров не было. А все-таки двумя словами перекинемся и о Воронеже. Только раз не вспомнили, и поэтому эта встреча памятна мне. Умер поэт А.Н. Плещеев. Хоронить его привезли в Москву, на Новодевичьем кладбище. Был холодный, ветреный день. Я приехал на вокзал к самому приходу поезда. Влетел на платформу, по обыкновению в распахнутой шубе. Встречающих было много. Первая, кого я увидел, была М.Н. Ермолова. Стихотворением Плещеева «Вперед» она заканчивала почти каждое выступление. М.Н. Ермолова стояла в группе кутающихся в шубы писателей и артистов.

Первым делом я подошел к ней. Здравуюсь, а она в ответ:

– Да застегнитесь, пожалуйста, такой холодина, простудитесь...

– Благодарю вас, Мария Николаевна, я не простужаюсь, – ответил я.

– Он чугунный, ему ни черта не сделается! – замычал Южин.

– И чугун трескается, – сказала Мария Николаевна.

Поезд подошел.

* * *

Моя последняя встреча с Марией Николаевной была в 1924 году, 12 января – считаю по старому стилю. Это был Татьянин день, московский студенческий праздник. Я пришел на именины к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Она жила в квартире М.Н. Ермоловой, в ее доме на Тверском бульваре. Квартира в третьем этаже, вход из-под ворот, по скверной «черной» лестнице. Попадаю на кухню, называю свою фамилию и спрашиваю именинницу. Старушка проводила меня закоулками в гостиную. Обстановка старинная. Чай – по-именинному, вокруг самовара, пироги домашние, корзинка с покупным пирожным, ваза с фруктами. За столом сидит Маргарита Николаевна, дочь Марии Николаевны. Именинница встречает меня. Только что я взял стакан с чаем, как входит та самая старушка, которая ввела меня, и го-

ворит:

– Владимира Алексеевича просит Мария Николаевна к себе.

– Пойдемте, это уж особая честь, что Мария Николаевна просит к себе. И как узнала? – спросила Татьяна Львовна старушку.

– Да я сказала, что пришел Владимир Алексеевич, она велела позвать.

– Это для вас исключение. Мария Николаевна никого не принимает, – заметила одна из сидевших за столом.

Через темную комнату, дверь с теплой гардиной, а за ней уютная комната Марии Николаевны. Она поднимается с кресла и тихо идет навстречу. Сильно постаревшая, осунувшаяся, какой я себе ее даже и представить не мог. Идет с трудом, на лице радость и вместе с тем ее вечная грустная улыбка. Глаза усталые и добрые, добрые. Я поцеловал ее горячую, сухую руку, она мне положила левую руку на шею, поцеловала в голову.

– Спасибо, Танечка, за то, что привела его, и за то, что ты именинница... А то бы я его так и не увидела... Ведь он у меня здесь в первый раз.

– Я бы обязательно зашел повидать вас и, кроме того, поблагодарить за милое письмо, что вы мне прислали на мой юбилей месяц назад.

– Я бы сама пришла, да больна была. Вот на этом кресле, где вы сидите, всегда Островский сидел, – сказала она, опу-

каясь в кресло. – Танечка, ведь мы с ним старые друзья... Еще в Воронеже в семьдесят девятом году играли. Все такой же. Как сейчас помню нашу первую встречу на репетиции – Владимир Алексеевич с пожара приехал, весь в саже, так дымом, дымом от него!

И помахала рукой перед лицом, будто от дыма отмахивается. Говорит медленно, с трудом, а все улыбается.

Татьяна Львовна показывает мою книжку «Петербург».

– Вот от Владимира Алексеевича именинный подарок получила.

– А мне? Что же мне?.. – торопливо обратилась ко мне Мария Николаевна.

На счастье, был у меня в кармане номер журнала «Огонек» с моим портретом и биографией, написанной Ю. Соболевым к моему юбилею.

– А вот и вам, Мария Николаевна!

– Ах, как хорошо! И портрет. А ты, Танечка, потом приди и почитай мне его книжку.

Она взяла со стола открытку со своим портретом в роли «Перед зарей» и дала мне.

Между прочим, она посмеялась моему четверостишию новогоднему:

С тех пор, как грянула свобода, Мне все на свете тринтрава. Я правлю в год два новых года И два христовых рождества.

– Уж очень это хорошо у вас: «Грянула свобода...» Имен-

но она грянула. А ну-ка еще прочтите. Я повторил.

– Ну еще раз.

Еще прочел. И она по-своему, по-ермоловски прочла нам наизусть.

– Боюсь, что могу забыть. Напишите своей рукой на журнале. Вот, на полях.

Я написал и прошу:

– А вы, Мария Николаевна, на своей карточке число поставьте.

Она подписала: «12 января 1924 года» – под ранее написанным: «Вл. Ал. Гиляровскому на память о Воронеже».

– Ах, Воронеж, Воронеж! Какое время! Какие люди были!

Посидели еще, поговорили про старину, о Воронеже, о ее юбилее, о юбилее С.А. Юрьева, на котором мы первый раз встретились после Воронежа.

Прощаясь со мною, она встала, проводила, у самых дверей поцеловала меня в щеку и сказала:

– Ведь вот насмешил-таки меня, а я уж забыла, когда смеялась. Все тот же, все такой, как и был.

Это были последние слова, которые я слышал от Марии Николаевны, и думаю, что я был один из последних, кто видел ее улыбку и слышал искренний смех.

* * *

На том самом месте этой огромной, высокой церкви Боль-

шого Вознесения, у Никитских ворот, где сто лет назад под золотыми венцами стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, высился весь в цветах и венках белый гроб, окруженный беспрерывно входящими и выходящими москвичами, пришедшими поклониться останкам своей любимицы, великой артистке Марии Ермоловой. Здесь собрались те, которые не будут иметь возможности завтра присутствовать на торжественной гражданской панихиде в Малом театре.

Церковь не вмещала всех желавших войти сразу, народ толпился на улице, ожидая очереди, и под ярким мартовским солнцем, в сырую, холодную ночь, до тех пор, пока от церкви не двинулась процессия к Малому театру.

Мне удалось наблюдать это грандиозное, невиданное в Москве зрелище с подъезда в Столешниковом переулке...

В полночь послышалась музыка, на Советской площади засверкали дымящиеся красными прыгающими облаками факелы, красивыми бликами осветившие высокий белый катафалк, и белые попоны лошадей, и тысячную толпу народа... Процессия спускалась сверху вниз по переулку... Красные отблески играли и на белом катафалке и на стенах домов. Живой багровый дым факелов казался огненным потоком, чем ближе, тем грознее. Прекрасный оркестр играл что-то классическое, при совершенном безмолвии переполнившего улицы народа.

Музыка постепенно смолкала, факелы исчезали за поворотом на Петровку, а народ все еще шел, шел к Малому те-

атру, окруженному также толпами встречающих...

* * *

Аполлон с высоты Большого театра мог видеть только живое, колеблющееся зарево от факелов, и облачка дыма поднимались от него, и он мог думать, что это ему опять приносят жертву, опять воскуряют фимиам, как и тогда, тысячелетия тому назад...

Как сапоги-скороходы, Бежали за годами годы...

Память о тысячелетиях мелькнула только на минуту... Пронесло ветром дым, погасли факелы. Забыты жертвоприношения древние и забыт фимиам...

Сегодня он в бессонную ночь, возбужденный заревом факелов и жертвенным фимиамом, не уснул, как всегда, а вспомнил то, что он видел за это время, он, олимпийский бог, покровитель искусств, у которого вместо девяти муз осталась четверка лошадей и вместо лиры златострунной в руках – медные вожжи. На все он смотрел только через головы и спины лошадей, а что делалось кругом и внизу – не видал...

Помнит он белоснежный квадрат площади, обнесенной канатом, войска, марширующие два раза в году под музыку; видел он раз в год вырастающий в одну ночь и на одну только неделю еловый лес. Помнит он тучи пыли, несшиеся на него от куч мусора, наваленного на площади.

И клубятся перед ним картины прошлого.

Я смотрю на него снизу в этот сырой, туманный день, шлепая по лужам и талому снегу, растоптанному тысячами ног вчерашней факельной процессии на площади. Смотрю и вспоминаю то, что видел Аполлон за последние полвека, и грежу прошлым. Но мои грезы обширнее, потому что с высоты птичьего полета, и притом с одной стороны, величавому олимпийцу, сменившему по воле судеб свой божественный Олимп на фронтон Большого театра, ему казались все равными: вельможи и архиереи, купцы и купчихи на рысаках – и пеший люд всякого звания, состояния, и сытый, и голодный. Все, что было внизу, казалось ему мелким, не стоящим внимания, а нам он казался пустым и холодным. Нас больше интересовала кипевшая внизу жизнь.

Первое, что мелькнуло сейчас в моей памяти, – это солнечный мартовский день, снежное полотно, только что покрывшее за ночь площадь, фигура розовой под солнцем девушки, которая выпрыгнула из кареты и исчезла вот в этом самом подъезде Малого театра. «Вся радостно сияет! Восходящая звезда!»

И это было так давно...

Бежали за годами годы... Клубились воспоминания... Вспомнился вдруг чудесный серовский портрет Марии Николаевны, висевший в Литературно-художественном кружке, на Большой Дмитровке.

Мария Николаевна редко там бывала, разве только на

юбилеях и чествованиях крупных лиц художественного мира. В чей-то юбилей я встретился с Марией Николаевной в Литературном кружке перед репинским портретом Льва Николаевича Толстого.

– На днях, – сказала она, – я прочла «Хаджи-Мурата» и в полном восторге, но самое сильное впечатление произвело на меня начало – описание репея. Ведь это первый цветок, который я захотела сорвать. Мне было тогда четыре года. Он вырос как раз перед нашим окном, на старом кладбище. Я вылезла из окна, в кровь исколола руки, а все-таки сорвала.

Погост. Театральная площадь. Погост... Подмосковное село Владыкино.

* * *

Подмосковное село Владыкино, одно из любимых дачных мест, в половине прошлого века было бедным погостом: церковь, кладбище, пяток домиков и речка Лихоборка, которая привлекала любителей удить рыбу. В числе их был капельдинер Малого театра. Он поселился там с семьей. Вслед за ним его приятель, суфлер Н.А. Ермолов, снял под дачу избушку, на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса, близ Каретного ряда. Там стоял «домик крошечка, в три окошечка», во втором этаже которого жила просвирня, а в нижнем квартировал суфлер Н.А. Ермолов.

И по сию пору стоит тот домик в полной неприкосновенности, окруженный большими домами, выстроенными в конце прошлого столетия вокруг церкви; в те времена фасад домика выходил на церковный погост, а задние окна – на пустырь, поросший бурьяном вплоть до самой Неглинки. В незапамятные времена это место было кладбищем во время моровой язвы, и до сих пор при земляных работах там находят кости.

Вот эта-то глухомань и была для маленькой Маши ее детским садом, куда она вылезала из окна вровень с землей. Отец, бывало, на репетиции, мать хлопочет по хозяйству, а Машенька гуляет одна-одинешенька. Рвет единственные цветы – колючий репей и в кровь руки исколет. Большие ливни вымывают иногда кости.

Радости жизни у ребенка были: днем пустырь и театр вечером. И долго так было. Когда с августа начинались театры, Машенька всю осень гуляла на своем пустыре.

Росло Владыкино с каждым годом. Росла Машенька, и когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей, и всю свою жизнь проводила в ней каждое лето, за редким исключением – отъездов на гастроли и для лечения за границу. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там.

Погост. Театральная площадь. Погост.

Биографы Марии Николаевны писали о ней, что она замкнутая и нелюдимая...

В Воронеже она такой не была. Всегда веселая и разговорчивая, в своей маленькой компании она любила слушать и говорить о театре, о литературе, о Москве, и меньше всего – о себе. Только раз, когда В.П. Далматов припомнил, что он познакомился с Шекспиром с десяти лет, она улыбнулась:

– А я с пяти!

И рассказала, как она нашла череп, как отец увидел это, вылез через окно и сказал, что это не игрушка и что надо положить его туда, где он лежал, потому что «человек он был».

– Взял у меня его, вытянул перед собой руку с черепом, смотрит на него и каким-то не своим голосом сказал протяжно и жалостно: «Бедный Йорик!» Потом зарыл его в землю, и больше разговоров об этом не было.

Все так же я хожу с отцом в театр, сижу с ним в будке, любуюсь блеском декораций, сверкающими костюмами артистов; слушаю и не понимаю, а сама не только спросить, а пошевелиться боюсь, чтоб отцу не помешать. И вдруг – знакомая декорация: кладбище! Ну, точь-в-точь наше – и могилки, и памятники. Старик могилу копает, песню поет и выкидывает вместе с землей череп, такой же старый, каким я тогда играла. А около могилы два человека в черном. Уж по-

сле я узнала, что это Гамлет и Горацио. Я тогда ничего не понимала. Один из них наклоняется, поднимает череп, что-то говорит с могильщиком, становится так же и, выпрямив руку, как тогда отец, качает головой, глядит на него, ну, словом, все, как отец делал, и тем же протяжножалостным голосом, ну, точь-в-точь отец, говорит: «Бедный Иорик!»

Актер Вольский

У былого с настоящим
Непрерывное слиянье...

Кто пишет о своем прошлом на девятом десятке бурно
прожитых лет, тому это понятно.

Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я
сажу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке
в самом глухом углу «джунглей», над обрывом извилистого
берега Москвы-реки.

А подо мною речные извилины.
Каменный берег с грозящими кручами.
Гнездятся в зарослях совы да филины.
Дремлют в оврагах с норами барсучьими...

Восьмое лето я сажу здесь до самой глубокой осени, от-
дыхая после шумной Москвы.

Какая тишина! Как будто жизнь забыта
В безлюдных дебрях, думы так легки...
Лишь под землю взрывы динамита:
То белый камень рвут под берегом реки...
Хованщина была здесь – и когда-то

Таились в зарослях раскольничьи скиты...

И теперь та же здесь глухомань, как и в те забытые времена.

Я еще не открывал тетрадки, не брал карандаша, образы и думы о прошлом так мелькают, что ни одну не поймаешь на этом чудном фоне ароматной зелени.

Кругом орешник пышно вьется
Непроницаемой стеной.
И стадо за рекой пасется.
Рожок пастуший трелью льется
И повторяется рекой...

Нарушил тишину Дружок. Он бешено промчался по лесу и бросился ко мне, в радостях, что отыскал меня. Удивительный пес – всех пород! Длинный, на коротких кривых ногах, как крокодил, – это значит, что среди предков была такса. Его толстый, поленом, но все-таки круто загнутый хвост указывает, что между предками водились и «надворные советники», а может быть, северные лайки. Морда огромная, зубастая – точь-в-точь волк. Своим неожиданным и громким появлением он разбил прекрасную тишину и перенес меня в действительность. Дружок улегся сзади меня и молотил хвостиком, выражая свою радость. Я обернулся, чтобы его погладить. Передо мной белеют на зеленом фоне «три сестры» – три стройные, еще не старые, выросшие из одного

корня березы, которые я, в память Антоши Чехонте, назвал так три года назад.

Это уже реально и останавливает внимание... А тут еще Дружок: «помесь дворняжек с крокодилами», вспоминаются слова Чехова.

Но эти образы исчезли... Снова тишина... тишина... Только пробившись сквозь столетние вершины дубов и кленов, солнечный луч

Заглянул полоской яркой
Под ореховые арки.
Где, темнея, зеленели
Их дремучие туннели...

Уснул Дружок. Еще мельтешится кое-что в тумане памяти, но что – разобрать не могу... Если бы кто-нибудь пришел и спросил, о чем я задумался, я, может быть, еще не упустил бы из внимания Чехова, вспомнил бы пустой какой-нибудь фактик, зацепился бы за него – и пошли бы, пошли воспоминания...

Пошевелился Дружок. Я оглянулся. Он поднял голову, насторожил ухо, глядит в туннель орешника, с лаем исчезает в кустах и ныряет сквозь загородку в стремнину оврага. Я спешу за ним, иду по густой траве, спотыкаюсь в ямку (в прошлом году осенью свиньи разрыли полянки в лесу) и чувствую жестокую боль в ступне правой ноги.

Хромая, возвращаюсь на скамеечку. Несмотря на боль,

вспоминаю рассказ И.Ф. Горбунова о ямщике.

«Кажинный раз на эфтом самом месте!» – оправдывался он, вывалив барина.

«Кажинный раз на эфтом самом месте!» Именно в ступне. Как чуть оступишься – болит. А последние три года старость сказалась – нога ноет, заменяя мне барометр, перед непогодой. Только три года, а ранее я не чувствовал никаких следов вывихов и переломов – все заросло, зажило, третий раз даже с разрывом сухожилий. Последнее было уже в этом столетии в Москве.

Боль была настолько сильна, что и прелесть окружающего перестала существовать для меня. А идти домой не могу – надо успокоиться. Шорох в овраге – и из-под самой кручи передо мной вынырнул Дружок, язык высунул, с него каплет: собака потеет языком. Он ткнулся в мою больную ногу и растянулся на траве. Боль напомнила мне первый вывих ровно шестьдесят лет назад в задонских степях, когда табунщик-калмык, с железными руками, приговаривал успокоительно:

– Ничего, бачка, в воскресенье гуляй.

Он ловко вправил мне свернутую в сторону ступню и только пожалел, что сапог пришлось разрезать.

В воскресенье, через три дня, я действительно гулял, а через неделю совершенно забыл о ноге и только вспомнил о ней года через два в Тамбове, и об этом тамбовском случае вспомнилось сейчас, когда я смотрел на Дружка и на «трех

сестер».

* * *

Выплывают, кружатся и исчезают в памяти: Вася Григорьев, Чехов, записывающий «Каштанку» в свою записную книжку, мать Каштанки – Леберка, увеличившая в год моего поступления в театр пятью щенками собачье население Тамбова, – несуразная Леберка, всех пород сразу, один из потомков которой, увековеченный Чеховым, стал артистом и на арене цирка, и на сценах ярмарочных и уездных театров.

Леберка жила в то время со своими щенками в том самом темном подвальном коридоре театра, на который выходили двери комнаток, где жил В.Т. Островский и останавливались проезжие и проходящие актеры и куда выходила и моя каютка с пустыми ящиками из-под вина, моя постель в первые дни после приезда в Тамбов.

Леберка ютилась под лесенкой, откуда щенята расплзались по коридору и взбирались на ступеньки. После спектакля, пробираясь ощупью домой, я отворил дверку в коридор и, уверенно ступая по знакомой лесенке из четырех ступеней, вдруг наступил на щенка. Визг. Испуганный лай Леберки и грохот моего падения произвели переполох. Островский, шатаясь, вышел на шум, а его поддерживал извозчик без шапки, с сальной свечкой в руке и кнутом за поясом халата.

Островский, на мое счастье, был в периоде своего загула, когда ему требовались слушатели, которым он читал стихи, монологи, рассказывал о своих успехах. Днем такие слушатели находились. Он угощал их в отдельных комнатах трактиров, но когда наступала ночь, нанимал извозчика по часам, лошадь ставилась на театральном дворе под навесом, а владелец ее зарабатывал по сорок копеек в час, сидя до рассвета в комнатке Василия Трофимовича за водкой и закуской, причем сам хозяин закусывал только изюмом или клюквой.

Это были последние дни загула, и только благодаря этому мне вовремя была подана помощь, а то невесть сколько пролежал бы я, так как нога не позволяла мне двигаться. В комнатах коридора в это время, кроме меня и В.Т. Островского, никто не жил. Пришли из ресторана буфетчик Пустовалов, Сережа Евстигнеев и Ваня Семилетов, который сейчас же убежал и привел фельдшера из пожарной команды... Опять операция, напоминавшая мне калмыка. Забинтовав ногу, меня уложили на мои ящики. Василий Трофимович отпустил извозчика и переселился с водкой и закуской ко мне. Я слышал сквозь сон пьяные монологи Велизария, Ричарда III и Жанны д'Арк, а потом крепко заснул и проснулся, когда уже светало, от холода.

В комнате я один, на столе пустая посуда, а из окна дует холодом и сыплет снег. Окно было разбито, стекла валялись на полу. Дворник стучал по раме, забивая окно доской. Оказалось, что свинья, случайно выпущенная из хлева извозчи-

ком, выдавила боком мое окно.

Когда о происшествии узнал антрепренер Григорий Иванович Григорьев, он тотчас же спустился вниз и приказал Васе перевести меня в свою комнату, которая была вместе с библиотекой. Закулисный завсегдатай театра Эльснер, случайно узнав о моем падении, тотчас же привел полкового доктора, тоже страстного театрала, быстро уложившего ногу в лубок.

Я лежал и блаженствовал. Вася за мной ухаживал, как за братом, доставал мне книги из шкафа, и я читал запоем. Старик Григорьев заходил по два раза в день, его пятнадцатилетняя дочка, красавица Надя, приносила печенье и варенье к чаю, жена его Анна Николаевна – обед.

И все это благодаря Леберке и ее пострадавшему щенку, может быть, даже Каштанке. Из-за него меня Григорьев перевел в свою комнату-библиотеку, из-за него, наконец, я впервые познакомился с Шекспиром, из-за него я прочел массу книг, в том числе «Гамлета», и в бессонную ночь вообразил его по-своему, а через неделю увидел его на сцене, и какого Гамлета!.. Это было самое сильное впечатление первого года моего пребывания на сцене.

* * *

Побывали у меня все. Целый день народ. Столик перед кроватью был завален конфетами: подарки актрис – драма-

тической Микульской, инженеру Лебедевой, изящной Струковой и других.

В Струкову был, конечно, платонически и безнадежно, влюблен Вася, чего она не замечала. Уже десятки лет спустя я ее встретил в Москве, где она жила после смерти своего мужа Свободина (Козиенко), умершего на сцене Александринского театра в 1892 году. От него у нее был сын Миша Свободин, талантливый молодой поэт, московский студент, застрелившийся неожиданно для всех. Я его встречал по ночам в игорных залах Художественного кружка. Он втянулся в игру, и, как говорили, проигрыш был причиной его гибели.

А тогда Струкова была совсем молоденькой. Она только что начинала свою сценическую жизнь, и ее театральным обучением руководил Песоцкий, который в то время, когда я лежал, проходил с нею Офелию. Эта первая крупная роль удалась ей прекрасно.

Она сидела на моей кровати вместе с другими и все время, ни на кого не обращая внимания, мурлыкала чуть слышно арию Офелии. А Вася из уголка с дивана глядел на нее влюбленными глазами. Я только тут и узнал, что Вольский в свой бенефис ставит «Гамлета».

Я никогда не видал и не читал «Гамлета». Вася вынул из шкафа тоненькую, в потрепанном дешевом переплете печатную книжку, всю исчерканную, и дал только до утра – утром первая репетиция. Я прочел с восторгом, как говорится, вза-сос, ночью раза три зажигал свечку и перечитывал некото-

рые места.

С Васей вечером я не успел поговорить о «Гамлете», не знал, в каких костюмах играть его будут, в какой обстановке.

Еще в гимназии я много перечитал рыцарских романов, начиная с «Айвенго», интересовался скандинавами и нарисовал себе в этом духе и «Гамлета» и двор короля, полудикого морского разбойника, украшавшего свой дворец звериными шкурами и драгоценностями, награбленными во время набегов на богатые города Средиземного моря.

Я не обратил внимания на описание дуэли Гамлета с Лаэртом, а только уж ночью, еще раз перечитав дуэль, удивился, что они дерутся на рапирах, а не на мечах.

Долго об этом думал, вспомнил «Трех мушкетеров» и, рисуя себе великана Портоса, решил, что по руке ему рапира тяжелая, а не те мышкетолки, на которых дерутся теперь на уроках фехтования. Значит, такая рапира будет и у Гамлета, ведь он просит себе рапиру потяжелее.

«Первый в Дании боец». Удалой морской разбойник, силач, хоть и учился за границей, а все такой же викинг, корсар... Так я решил.

* * *

Актер Ф.К. Вольский хоть и был ростом немного выше среднего, но вся фигура, энергичная походка и каждое движение обнаруживали в нем большую силу и гимнастическую

ловкость. Свежее строгое лицо с легким румянцем, выразительные серые глаза и переливчатый голос, то полный нежности, то неотразимо грозный, смотря по исполняемой роли.

Вольский получил высшее образование и пользовался, несмотря на свою молодость (ему было тридцать лет), полным уважением труппы. Он был прекрасным актером, и почему он не попал на императорскую сцену – непонятно. Его амплуа – первый любовник и герой. Проснувшись на другой день около десяти утра, я издали увидел его в отворенную дверь и залюбовался им: «Да, это Гамлет... Первый в Дании боец».

– Позвольте? – обратился он ко мне.

– Милости просим, Федор Каллистратович!

– Я на одну минуту... за книгой, репетиция начинается.

– Как мне жаль, что я не увижу вас в Гамлете...

– Почему же? Мы вас перенесем в первую кулису... увидите, увидите, я устрою. Я хочу, чтобы вы видели меня в моей любимой роли. – Взял книгу и своими неслышными шагами вышел, потом повернулся ко мне и, мило улыбаясь, сказал: – Вы «Гамлета» увидите! – И так же неслышно исчез в глубине следующей комнаты.

Через три дня мне сняли гипс, забинтовали ногу и велели лежать, а еще через три дня меня транспортировали перед началом спектакля в оркестр, где устроили мне преудобнейшее сиденье рядом с «турецким барабаном».

Я видел «Гамлета» – и, если б не Вольский, разочаровался

бы в постановке. Я ждал того, что надумал ночью. Я ждал – и вспомнились мне строки Майкова, где:

Ряд норманнов удалых.
Как в масках, шлемах пудовых.
С своей тяжелой алебардой.

А тут что? Какие-то тонконогие испанцы в кружевах и чулочках, с мышколками сбоку. Расшаркиваются среди королевских палат с золочеными тонконогими, как и сами эти придворные, стульями и столиками, в первом акте, в шелковых чулочках и туфельках, гордо расхаживают зимой на открытой террасе...

Жалел я, что Офелию дали изящной и хрупкой институтке Струковой, а не Наталии Агафоновне Лебедевой из типа русских женщин, полных сил и энергии, из таких, о которых сказал Некрасов:

Есть женщины в русских селеньях.

Я представлял себе Офелию вроде Жанны д'Арк. И только один Гамлет, Ф.К. Вольский, явился таким, каким я накануне представлял Гамлета по песне Офелии:

В белых перьях, статный воин.
Первый в Дании боец...

На нем не было белых перьев. Одет он был по традиции, как все Гамлеты одеваются, в некое подобие испанского костюма, только черное трико на ногах и черный колет, в опушении меха, что и очень красиво и пахнет севером. На голове опять-таки не испанский ток, а некоторое его подобие, с чуть заметной меховой опушкой, плотно облегающий голову до самых ушей, сдвинутый на затылок и придающий строгому лицу, напоминающему римского воина, открытое выражение смелости и непреклонности. Это был викинг в испанском костюме, и шпага его была длиннее и шире шпаг придворных.

Как ярко подчеркивали его силу и непреклонность рыцарскую извивавшиеся в поклонах, в сиреневых чулочках на тонких ногах Розенкранц и Гильденштерн.

Вольский сам тоже подчеркивал это. В первом же акте я порадовался и сказал про себя: «Да, это Гамлет, какого я представлял себе тогда ночью».

Гамлет-Вольский в сопровождении двух приставленных к нему королем его друзей, Горацио и Марчелло, вышел на террасу, где появлялась тень отца. Он одним взмахом накинул на себя тяжелый плащ, который сразу красиво задрапировал его фигуру.

Только один Южин так красиво умел драпироваться в плащ и римскую тогу.

Горацио и Марчелло стали Гамлету поперек дороги:
Марчелло. Вы не пойдете, принц!

Гамлет. Руки прочь!

Горацио. Послушайтесь! Мы не пустим вас!

Гамлет. Судьба меня зовет и каждую малейшую жилку делает такой же мощной, как мышцы льва немейского. Пустите же...

Вольский расправил плащ, красиво повисший на левом плече, и правой рукой отстранил Горацио. Горацио играл Новосельский, родной брат Вольского, на голову выше его, а Марчелло – такой же высокий Никольский.

Гамлет. Все зовёт! Пустите! Клянусь небом, я сделаю призраком того, кто станет удерживать! Прочь!

Гамлет-Вольский буквально отшвыривает двух рыцарей и величественно и смело идет к тени.

Это «первый в Дании боец», это сын короля-викинга, Гамлет, это – принц Датский.

* * *

Король и королева в смущенье встали с трона и поспешно ушли. За ними в суматохе кинулся весь двор. Сцена опустела. Гамлет, рядом с Горацио, стоял, откинув обе руки назад, слегка подавшись корпусом вперед: тигр, готовый ринуться на добычу. Он подвинул левую ногу, голова его ушла в плечи, и, когда толстяк-придворный последним торопливо исчез в кулисе, Гамлет, с середины сцены, одним могучим прыжком перелетел на подножие трона. Он выбросил руку

вслед ушедшим. Его лица не было видно, но я чувствовал по застывшей на миг позе и стремительности прыжка его взгляд торжествующего победителя. Продолжалось ли это несколько секунд или несколько минут, но театр замер... не дышал.

Вдруг Гамлет-Вольский выпрямился, повернулся к Горацио, стоявшему почти на авансцене спиной к публике. Его глаза цвета серого моря от расширенных зрачков сверкали черными алмазами, блестели огнем победы... И громовым голосом, единственный раз во всей пьесе, он с торжествующей улыбкой бросил:

– Оленя ранили стрелой!

Был ли это клич победы или внезапной радости, как у Колумба, увидевшего новую землю, но театр обомлел. Когда же через минуту публика пришла в себя, грянули аплодисменты, перешедшие в грохот и дикий вой.

Я видел всех знаменитостей за полвека, я видел и слышал овации в самые торжественные моменты жизни сцены, но все это покрывалось для меня этими пережитыми минутами, может быть, потому, что я был тогда молод и весь жил театром.

Кончился тамбовский сезон. Почти все уехали в Москву на обычный великопостный съезд актеров для заключения контрактов с антрепренерами к предстоящим сезонам. Остались только друзья Григорьева да остался на неделю Вольский с семьей. Ему не надо было ехать в Москву: Григорьев уже пригласил его на следующую зиму; Вольского вообще

приглашали телеграммами заранее.

Летние сезоны Вольский никогда не служил и, окончив зимний, ехал на весну и лето к своему отцу, в его имение, занимался хозяйством, охотился, готовил новые роли. Он остался по просьбе губернаторши, чтоб участвовать в воскресенье на второй неделе поста в литературном вечере, который устраивался в пользу какого-то приюта.

Литературный вечер был в губернаторском доме. На правой стороне эстрады в зале, ярко освещенном люстрами и настенными бра, стоял буль-столик с двумя канделябрами по двенадцати свечей в каждом, а для чтеца был поставлен тяжелый старинный стул красного дерева с бронзой, с невысокой спинкой.

Тамбовское дворянство наполнило зал. Помещики из своих имений съехались с семьями. Шуршали шелка, звенели шпоры. Дамы в закрытых платьях, мужчины в сюртуках: танцев по случаю поста не было.

Вечер открыл чтением своей новой комедии местный писатель-драматург Ознобишин. Фамилия Вольского стояла последней в программе, что было сделано с его разрешения.

– А то после вас все боятся читать!

Читали. Пели. Публика иногда позевывала, все ждали Вольского. Появление его, в изящном черном сюртуке, было встречено дружными аплодисментами.

Вольский читал отрывки из Тургенева и на «бис» – монолог Чацкого, а публика продолжала аплодировать, хотя и

видела, что артист устал. Прочел он наизусть «Тройку» Гоголя, что окончательно привело в восторг слушателей, аплодисментами не пускавших артиста со сцены. Чуть Вольский делал шаг назад, аплодисменты раздавались громче.

Вдруг из глубины зала, слева от сцены, послышался нежный, робкий, молящий голос:

– Гамлета! Быть или не быть!

Это, по-видимому, ответило желанию всех, и зал застоялся:

– Быть или не быть!!! Гамлета!!! Гамлета!!!

Ознобишин, скрывший меня от публики перед началом вечера в артистической комнате, сам принес стул за левую кулису, на авансцену, и я ближе всех мог видеть лицо Вольского. Он действительно устал, но при требовании Гамлета улыбнулся, подошел к столу, из хрустального графина налил воды и выпил. Публика аплодировала, приняв это за согласие.

Затем он двумя пальцами взял за ушко спинки тяжелый стул и, без всякого усилия приподняв его, красивым движением поставил перед собой, ближе к авансцене.

От восторга тамбовские помещики, сплошь охотники и лихие наездники, даже ногами затоптали, но гудевший зал замер в один миг, когда Вольский вытянутыми руками облокотился на спинку стула и легким, почти незаметным наклоном головы, скорее своими ясными глазами цвета северного моря дал знать, что желание публики он исполнит. Артист

слегка поднял голову и чуть повернул влево, вглубь, откуда раздался первый голос: «Гамлета! Быть или не быть!»

Его красивая, статная фигура, даже пальцы его белых рук замерли на красном фоне спинки стула. Он как-то застыл. Казалось, что глаза ничего не видят перед собой или видят то, что не видит никто, или недвижно ищут ответа невозможного.

– Быть или не быть? – спрашивает он у самого себя, еще не говоря этих слов. Но я читаю это в его глазах. Его лицо я видел в три четверти, как любят снимать некоторые лица фотографы. Прошло несколько секунд безмолвного напряжения. Я, по крайней мере, задержал дыхание – и это показалось мне долгим.

– Быть или не быть? – спрашивает он у самого себя. Красивые губы его чуть шевелятся.

И читает или, вернее, задает сам себе вопросы, сам отвечает на них, неподвижный, как прекрасный мраморный Аполлон, с шевелюрой Байрона, с неподвижными, как у статуи, глазами, застывшими в искании ответа невозможного... И я и вся публика также неподвижны, и также глаза всех ищут ответа: что дальше будет?.. «Быть или не быть?» И с этим же неподвижным выражением он заканчивает монолог, со взглядом полного отчаяния, словами: «И мысль не переходит в дело». И умолкает.

А публика еще ждет. Он секунду, а может быть, полминуты глядит в одну и ту же точку – и вдруг глаза его, как серое

северное море под прорвавшимся сквозь тучи лучом солнца, загораются черным алмазом, сверкают на миг мимолетной улыбкой зубы, и он, радостный и оживленный, склоняет голову. Но это уж не Гамлет, а полный жизни, прекрасный артист Вольский.

От рукоплесканий дрожит весь зал, и, уходя семь раз со сцены и семь раз возвращаясь на вызовы, раскланиваясь, он останавливает на миг свой взгляд в левой стороне зала, где минуту назад Гамлет искал ответа невозможного. Там сидели Струкова и Вася.

* * *

В продолжение десяти лет и долго после этого, в разные минуты жизни, даже во время русско-турецкой войны, в пластунских секретях, под самым носом неприятельского часового, мне грезился этот вечер, когда я в последний раз в моей жизни видел Вольского.

С тех пор я не видал его. Он как-то исчез из моих глаз; бросил ли он сцену или, как многие хорошие актеры, растаял в провинции – не знаю. Даже слухов о нем не было.

Я видел Росси, Поссарта, Южина, Ленского, Качалова, видел всех лучших русских Гамлетов, видел Гамлетов – старых трагиков, громоподобно завывавших, видел и таких, о которых говорили, что они лезут из богадельни в акробаты:

Уши врозь, дугою ноги.
И как будто стоя спит...

И всегда мне грезился Вольский-Гамлет в черном сюртуке
и вместе с тем

В белых перьях, статный воин.
Первый в Дании боец.

За полвека много я пересмотрел замечательных Гамлетов, но ни разу не видел настоящей Офелии, создания Шекспира, «сотканной из тончайшего эфира поэзии». Я понял Офелию после, много-много позднее, когда понял и Гамлета. И тогда только я вспомнил первую Офелию, неопытную еще артистку, изящную, тонкую, стройную мечтательницу – Струкову. В то время, когда я ее видел, она мне казалась неподходящей к обстановке грубых, полудиких норманнов, созданных моим воображением. Долго я думал так, много пересмотрел Офелий и, наконец, понял, что настоящей Офелией была та, семнадцатилетняя Струкова, с ее маленьким голоском и украшавшей ее неопытностью.

Поэт Блок

В декабре 1917 года я написал поэму «Петербург», прочитал ее своим друзьям и запер в стол: это было не время для стихов. Через год купил у оборванного, мчавшегося по улице мальчугана-газетчика «Знамя труда», большую газету на толстой желтой бумаге. Дома за чаем разворачиваю, читаю: «Двенадцать». Подпись: «Александр Блок. Январь».

А.А. Блока до этого я видел только раз в «Славянском базаре», в компании с молодыми людьми. Они проходили мимо нас к выходу, и среди них я невольно залюбовался Блоком. Сюртук ловко сидел на его фигуре, и его свежее лицо показалось мне знакомым: где это я его видел? Лицо, глаза и рамка курчавых волос, будто с портрета Байрона, пластические движения стройного тела – все вместе напоминало мне кого-то близкого.

Проходя мимо нас, он бросил взгляд на наш стол, но мысли его были где-то далеко, он нас не заметил, и эти глаза цвета серого моря подтвердили, что они мне знакомы. Да где же, где я его видел? Так и не припомнил!

Прочитав газету, я ее передал моей молодежи, поклонникам Блока. Когда они начали читать вслух стихи, я был поражен, а когда прослушал все – я полюбил его. И захотелось мне познакомиться с Блоком.



Выйдя из Дома Герцена, весь полный впечатлений, я присел на холодную мраморную ступеньку пьедестала пушкинского памятника, присел и задумался.

Это было ночью девятого мая 1921 года. В серьезные минуты жизни всегда приходят на память какие-нибудь мелочи из прошлого. В пластунских секретах, под самой неприятельской цепью, когда я собирался снять противника, мне вспоминались солдаты-статисты, которые в «Хижине дяди Тома» сняли парики из вязанки, думая, что шапки. В Сербии, когда мы от неминуемой казни, вместе с одним товарищем, в грозовую ночь, по крутым улицам Белграда, обращенным ливнем в горные потоки, пробирались к Дунаю, чтобы переплыть из Сербии в Венгрию, я радовался тому, что успел захватить табакерку, и угощал его табаком, а он отмахивался:

– До табакерки ли теперь!

А она мне всего дороже была в тот миг. И сейчас, сидя под памятником, вспоминалась зимняя лунная ночь в 1882 году в Москве.

Возвращался я с дружеской пирушки домой и вижу возню у памятника. Городовой и ночной сторож бьют плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочил с извозчика, подлетел, городского по

шее, сторожа тоже. Избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил – и на меня, я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток – я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, потрянул:

– За что вы били человека? – а сам трясу.

Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обоиими руками городской ухватился за мою руку, но тщетно.

– За что? – спрашиваю. – Я сейчас поеду к Александру Александровичу, он мой дядя... вон у него огонь в кабинете. Я сейчас от него.

Слова эти произвели эффект невероятный. Племянник Козлова, обер-полицмейстера!

– Вашекобродие, простите! Свисточек-то пожалуйста мне, – умоляет вытянувшийся городской.

Сторож подходит, слышит мирный разговор, видит, как я возвращаю свисток.

– Ты знаешь, кто они? Так что вот вроде Пушкина, – и показал рукой на памятник.

– Ты разве знаешь, что я поэт? – обрадовался я своей неожиданной популярности: я только что начал печататься.

– Как же-с! Прямо-таки Пушкин!.. Рука-то чугунная!

Я тогда жестоко был обижен в своей поэтической гордости.

Это воспоминание опять меня вернуло в Дом Герцена, к только что пережитым минутам.

В те огненные времена было не до поэзии, а я все-таки думал напечатать «Петербург», предварительно прочитав его Блоку. Это был законный предлог повидаться с ним, это было моей неотвязной мечтой. Только в 1921 году я познакомился с ним, но весьма мимолетно.

Девятого мая 1921 года возвращаюсь откуда-то поздно вечером домой. Тверским бульваром. Большие окна Дома Герцена по обыкновению ярко освещены. Я отворил дверь в зал Союза писателей в то время, когда там гремели аплодисменты.

– Кому это? – спрашиваю.

– Блок читает!

– А!..

Блоку безумно аплодировали. Он стоял в глубине эстрады. Я ринулся в гущу толпы, желая во что бы то ни стало пробиться к нему, послушать его и познакомиться. Лучшего случая не найдешь! Решил, – значит, пройду, пусть меня бьют, а я пройду.

Мой желтый кожаный пиджак, выдавший виды, остался без пуговиц; но будь пиджак матерчатый, я бы на эстраду попал полуголый.

Я подходил к эстраде, когда Блок читал. Публика, храня тишину, слушала; я безмолвно вдавливался между стоящих, неотразимо лез вперед, без звука. Меня пихали ногами, тыкали иногда мстительно в бока и спину, отжимали всем корпусом назад, а я лез, обливаясь потомки, наконец, был у эстрады.

Блок стоял слева у окна, в темной глубине, около столика: за публикой, стоявшей и сидевшей на эстраде, я не мог его видеть.

Я остановился с правой стороны у самой стенки, плотно прижатый.

Втискиваю голову в чьи-то ноги на эстраде, поднимаюсь, опершись на руках, вползаю между стоящих, потратив на этот гимнастический прием всю силу, задыхаюсь, прижимаюсь к стене. За толпой его не видно. Натыкаюсь у стены на обрубок, никем, должно быть, не замеченный. Еще усилие – и я стою на нем, выше всех на голову.

Офелия моя! – услышал я слова.

В черном сюртуке, единственном во всем зале, опершись на спинку кресла красного дерева кистями обеих рук, белых-белых, стоит передо мной Вольский.

Он читает, чуть шевеля губами; но каждое слово, переходившее иногда в полусшепот, ярко слышно.

Ни одного жеста, ни одного движения. А недвижные глаза, то черные от расширенных зрачков, то цвета серого моря, смотрят прямо в мои глаза. Я это вижу, но не чувствую его

взгляда. Да ему и не надо никого видеть. Блок читал не для слушателей: он, глядя на них, их не видел.

Блок не читает: он задает себе вопросы и сам себе отвечает на них.

Я смущен. Ведь это же Федор Каллистратович Вольский. Это он читает из «Гамлета»... И те же руки белые на спинке красного кресла и черный сюртук... те же волосы... взгляд... как тогда.

Но где же губернаторский зал? Мундиры, шелка, бриллианты? А глаза чтеца ищут ответа невозможного. Едва движущиеся губы упорно и трогательно спрашивают:

Зачем, дитя, ты? – мысли повторяли...

Зачем, дитя? – мне вторил соловей.

Когда в безмолвной, мрачной, темной зале

Предстала тень Офелии моей...

И, бедный Гамлет, я был очарован.

Я ждал желанный, сладостный ответ.

Нет, это не Вольский... Это сам Гамлет... живой Гамлет... Это он спрашивает: быть или не быть? Гамлет, наконец, превращается в Блока, когда он читает:

Я только рыцарь и поэт.

Потомок северного скальда.

Тогда в его глазах на один миг сверкают черные алмазы.

И опять туман серого моря, и опять то же искание ответа. Это Гамлет, преображенный в поэта, или поэт, преображенный в Гамлета. Вот на миг он что-то видит не видящим нас взором и говорит о том, что видит. Да, он видит... видит... Он видит, что

Офелия в цветах, в причудливом уборе
Из майских роз и влажных нимф речных
На золотых кудрях, с безумием во взоре.
Внимала звукам темных дум своих.
Ее дыханьем насмерть пораженный.
Припал к устам, как раненый олень.
Прекрасный принц Гамлет, любовью
опьяненный.
Когда пред ним отца явилась тень...
Он вскрикнул и воскрес...

И Вольский... и Гамлет... и поэт Блок – все перемешалось в моем представлении... Потом исчез Вольский... Потом Блок и Гамлет слились воедино...

Цикл Офелии кончился – аплодисменты гудели, а он читал, читал, читал, читал... Русь... Степи...

Бледный... измученный... Он уже при самом начале аплодисментов поднимал свою красивую белую руку:

– Молчите, я еще не все сказал, я еще не договорил...

И начинал читать. И читал. Одно после другого, разное, без заглавий, совершенно противоположное. Чувствовал ли

он, что в последний раз говорит перед Москвой?..

Иногда аплодисменты заставляли его просыпаться от этой лирической летаргии, и маска лица то освещалась черными алмазами зрачков, то опять потухала.

Он читал из отдельных стихотворений, импровизировал отдельные строки, будто отвечал на какую-то общую связь дум своих, в искании ответа невозможного, глядя в грядущее... Забывался на эти минуты Гамлет... И вдруг:

Тебя, Офелию мою.
Увел далеко жизни холод.
И гибну, принц, в родном краю.
Клинком отравленным заколот.

Блок слился опять с Гамлетом. Для меня навсегда. Зал гремел и стал еще теснее. Публику с эстрады попросили сойти, дать воздуху.

Утомленный, бледный, опустился поэт на жесткое кресло, но вскоре оживился. Я успел пробиться и встать за его креслом. Нас около Блока было немного. Глаза у Блока еще усталые, но уже совсем другие, не такие, как за минуту назад, во время чтения, смотрели внимательно.

Вот в это-то время и познакомил нас, по моей просьбе, П.С. Коган. Рука Блока была горячая, влажная. Он крепко пожал мою.

– Я вас сразу узнал по портрету в журнале «Геркулес». В то время я увлекался гимнастикой, хотел быть сильным. –

Глаза его оживились. Он говорил со мной дружески, будто со старым знакомым. – Мне тогда о вас Брюсов говорил... Он рассказывал, что вы очень сильный, что вы по Москве ходите с железной палкой почти в полпуда весом, говорил, что Пушкин также с такой палкой ходил в Михайловском и, развивая силу, жонглировал ею.

Я успел с восторгом упомянуть о его «Двенадцати», рассказать о своем «Петербурге» и о желании прочитать ему поэму.

– Осенью я обязательно буду в Москве, и мы с Петром Семеновичем (Коганом), – я остановлюсь у него, – с вами повидаемся и почитаем, – ответил он, помолчав.

Я подал ему свою книжку, карандаш, и он мне широким, ясным почерком написал:

Как часто плачем вы и я
Над жалкой жизнью своею.

Александр Блок, 1921 г.

Этой гамлетовской фигурой как бы заканчивается для меня галерея промелькнувших более чем за полвека людей театра. От безвестных перелетных птиц, от случайных обличков до таких вершин, как В.Н. Андреев-Бурлак, А.И. Южин, К.С. Станиславский и М.Н. Ермолова.

Картино, 1932–1933.

Столешиники, 1934–1935.